

СЛОВО О ПОЧЕТНОМ ЗЕМЛЯКЕ

Лискинская земля дала нашей стране много талантливых людей в разных областях человеческой деятельности. Это — видные политики, государственные и военные деятели, поэты и писатели, ученые. Среди них — уроженец села Средний Икорец Иван Васильевич Сидельников, которому скоро исполнится 100 лет со дня рождения.

Родился он 14 ноября 1918 года в селе Средний Икорец в большой крестьянской семье Василия Тихоновича и Авдотьи Ивановны, растивших пятерых детей, среди которых Иван — самый младший. Семья была бедная, жили впроголодь. Но, несмотря на трудности, Ваня рос любознательным, веселым и никогда не унывающим мальчиком. Пришло время, с огромным желанием пошел учиться. Он очень полюбил школу, книги. В 1923 году их семья вступила в товарищество по обработке земли. Это были предвестники колхозов. Тогда никто не мог предположить, что в будущем маленький любознательный мальчишка станет известным литератором, членом Союза советских писателей.

Он все время тянулся к чему-то новому. Когда ему минуло 16 лет, себе на радость он впервые приобрел простенький детекторный радиоприемник и ве-



Иван Васильевич Сидельников

чером, включив его, надел наушники: музыка, треск, шум... А затем диктор с нескрываемым горем в голосе сообщил об убийстве Сергея Мироновича Кирова, приводил полные возмущения отклики людей. Передача потрясла Ваню, и он решил откликнуться на это событие стихами. Всю ночь напролет сочинял их, а утром отправил в редакцию лискинской районной газеты «Путь Ленина». Вскоре пришел ответ, что стихи

признали неудачными, но при этом попросили написать о жизни и работе в их колхозе. Ваня оперативно откликнулся и написал о вывозе удобрений на поля. Та заметка за подписью селькора И. Сидельникова была опубликована в январе 1935 года.

С этих незамысловатых строчек, пожалуй, и начался его творческий путь, который впоследствии привел И.В. Сидельникова в писательскую семью. Но путь этот был непростым. Окончив семь классов, Иван пошел работать в колхоз. Все лето он трудился в поле, а осенью уехал в Бутурлиновку, где окончил девятый класс. Но нечего было есть, и он хотел было вернуться домой. Однако мать на это не согласилась. Собрав последние сухари и муку, поехала к сыну: встретила его на станции, отдала продукты ему и велела учиться дальше.

После окончания школы Иван обучился в техникуме и уехал на Дальний Восток. Однако работа там не удалась: по состоянию здоровья он вынужден был вернуться на родину. Вскоре его призвали на действительную воинскую службу. Еще в техникуме он начал вести дневниковые записи, продолжил их и в армии. Только вернулся с действительной, как грянула Великая Отечественная война.

Война не только украсила его грудь заслуженными боевыми наградами, но и оставила на всю жизнь неизгладимые впечатления, которые во многом и послужили материалом для его творчества. Дополнили эти впечатления дневниковые записи. После войны почти два года И.В. Сидельников служил в Бресте.

Демобилизовавшись, вернулся домой, в Воронежскую область, где сначала работал в районных газетах, потом в областной газете «Коммуна». А позже — редактором «Молодого коммунара». В этот же период Иван Васильевич Сидельников начал писать книги. Он писал о мужественных людях своего поколения — поколения фронтовиков. Повесть-быль «Неутраченное счастье» впервые вышла из печати в 1957 году. Потом несколько раз переиздавалась. Читателей до сих пор

глубоко волнует судьба невымышленного героя — Степана Батраченко, который в одном из боев за Родину получил тяжелое ранение и лишился зрения. Дальнейшая жизнь казалась ему бессмысленной, он даже хотел покончить с собой. Но с помощью друзей и любимой девушки Лиды нашел в себе силы вернуться в строй, стать полезным людям.

Иван Васильевич познакомился со Степаном Иосифовичем в Воронеже после войны, когда тот, будучи молодым преподавателем, стал работать в Воронежском педагогическом институте. Знакомство переросло в дружбу. Пораженный мужеством Степана, Иван Васильевич решил написать о нем книгу. Долго уговаривал Батраченко. Еще дольше пришлось собирать материал. За это время Степан Иосифович стал кандидатом наук, завоевал любовь и уважение коллег и студентов. А книга получилась замечательная: простыми, волнующими душу словами рассказывает автор о грозных днях Великой Отечественной войны, о счастье, подлости, человеческой любви, о служении Родине...

В 1967 году Иван Васильевич Сидельников был принят в члены Союза писателей СССР. В течение многих лет он руководил межобластным бюро пропаганды художественной литературы при Воронежской писательской организации. Автор книг «Защитники Воронежа», «Неутраченное счастье», «Пока сердце бьется», «Сердца согревает любовь», «Комиссары» и других.

В 1986 году ему было присвоено звание «Почетный житель села Средний Икорец».

Мне посчастливилось знать не только Ивана Васильевича, но и Степана Иосифовича и Лидию Федоровну Батраченко. Я бывал у них дома, так как учился вместе с внучкой. А понять величие жизни таких незаурядных людей помогают книги Ивана Васильевича Сидельникова.

Его не стало в 2000 году.

Александр БЕЗЗУБЦЕВ,
учитель, с. Средний Икорец

Репьевского учителя Николая Миرونвича Кравцова знали в райцентре и стар и мал. Многим вложил он знания крепкие и дух справедливости, доброты, неприятия зла. В 60-е годы прошлого века, в свою бытность школяром, звал его и я. Черные, с паутиной седины, аккуратно зачесанные волосы. Несвойственная учителю начальных классов явно военная выправка. И неизменный, тщательно отутюженный полувоенный френч — белый летом, защитного цвета по осени.

И никто в ту пору не знал, что такой же отчаянно контрастной была и фронтовая судьба Миронвича, о которой он ни с кем предпочитал не говорить. Поведал о ней в документальной повести воронежский писатель с лискинскими корнями Иван Сидельников. Называлась та повесть «С повинной» (в другом варианте — «Под чужим именем»). Коря себя за несвоевременные знания, с трудом отыскал ее в лискинской библиотеке и я. И болью жестокого времени пахнуло с прочитанных страниц. И горькая досада повинно нагнула голову: знай мы, тогдашние ученики Николая Миرون-

вича, его отчаянно-рискованную судьбу-дорогу к истине, может, и судьбы многих из нас стали бы менее податливы к ударам жизни. Было на примере учителя чему поучиться, но получилось, что главный свой урок у него мы невольно прогуляли.

...Май 1942-го. Окончивший с отличием Рязанское пехотное училище старший лейтенант Кравцов в должности начальника учебной части батальона преподает суворовскую науку побеждать курсантам Лепельского военного училища, эвакуированного в Череповец. Вместе с другими офицерами рвется на фронт. Но... «нам и думать о нем запретили, поставив задачу готовить командирские кадры. Но были среди нас и такие людишки, которые собственную утробу ценили выше чести, совести и долга...» Среди таких «людишек» оказался Гловов, непосредственный начальник Кравцова, и офицер особого отдела Стряпухин — подгрызали они курсантский паек, воруя продукты из солдатской столовой. На предупреждение Кравцова мародеры пригрозили: «Запомни: кто станет на нашем пути,



Н.М. Кравцов (в центре) с учениками Репьевской средней школы

рога обломаем». И обломали. Через две недели предъявили обвинение: статья 58, пункт десять, часть вторая. А потом и приговор военного трибунала: 10 лет лишения свободы и 5 лет поражения в правах.

Сюжет документальной повести «Под чужим именем» необычайно динамичен. Череда событий порой кажется немного нереальной. Но это было! 25 ноября 1942 года «враг народа» Николай Кравцов совершает побег из лагеря на Урале, чтобы на фронте сражаться против фашистов. Через неделю скитаний по заснеженной тайге сдается милиционеру, выдав себя за дезертира Ивана Дмитриевича Косаренко — своего репьевского соседа, пропавшего без вести. И вновь был трибунал, приговоривший «дезертира Косаренко» к 10 годам лишения свободы с отсрочкой приговора и направлением в штрафной батальон на Карельский фронт. В сентябре 43-го отважного пулеметчика Косаренко как искипившего вину перед Родиной переводят из штрафной роты в обычную стрелковую. О его подвигах рассказывает дивизионная газета «За разгром врага», а командование представляет к боевому ордену.

«Нет, — рассказывает горькую повесть Кравцова-Косаренко писатель

Иван Сидельников, — он нисколько не жалел о том, что бежал из Приуралья, где над головой ни пуль, ни снарядов — мучительной для него была лишь мысль о том, что, воюя под чужим именем, буд-то крадет... свой гражданский долг защищать Отечество. Не хотелось мириться со смертью под чужим именем». Так родилось письмо в Москву, Кремль, товарищу Сталину...

Не буду перечислять другие захватывающие подробности из жизни Кравцова — читатели ознакомятся с ними в повести Ивана Сидельникова. Лишь скажу, что мой учитель сохранил драгоценный для него документ: «Учитывая патриотическое поведение Кравцова на фронте... на основании ст. 8 УК РСФСР... от отбытия дальнейшего наказания освободить и восстановить в воинском звании...»

А мы... Прими, учитель, запоздалую повинную твоих учеников и земляков за поздно услышанный урок твоего отчаянного мужества. Но, может, и читателям нынешнего поколения тоже не поздно и полезно прочитать о нем, чтобы в тяжкое время находить мужество оставаться самими собою?

Николай КАРДАШОВ

Фото из домашнего архива автора

Человек бежал напрямик по глубокому, рыхлому снегу, бежал на пределе сил. В метельной темноте он часто спотыкался и падал, но сейчас же вскакивал, подгоняемый страхом и надеждой. Сердце, казалось, билось уже не в груди, а в пересохшем горле. Когда пересекал шоссе на дороге, соединяющую лагерь с городом, на ледке, присыпанном снегом, поскользнулся и упал. Сгоряча попытался сразу же вскочить, но лишь застонал от резкой боли в щиколотке. Тихо, с отчаянной злостью, выругался: только этого ему сейчас и не доставало!.. Все же он заставил себя подняться и вприпрыжку заковылял к одинокой кряжистой сосне. Под сосной, прислонясь к толстому стволу, пахнущему смолой, он стал терпеливо ждать, когда боль приутихнет. меховой варежкой человек поддел снег и поднес его к обветренным губам. Потом еще и еще. Утолив жажду, осторожно стянул с больной ноги подшитый валенок казенного изготовления, размотал байковую портянку и ощупал щиколотку. Перелома вроде бы не было, и человек приободрился.

Вдруг там, откуда он несколько минут назад незаметно улизнул, раздался еле различимый в шуме ветра хлопок одиночного выстрела, и мгlistое небо прочертила осветительная ракета... Это означало: побег обнаружен...

Человек обернул портянкой ногу и натянул на нее валенок. Потом сломал сук и, опираясь на него, опять заковылял, теперь уже значительно быстрее и тверже. Время от времени он ненадолго останавливался, всматриваясь в снежную пелену — погони и вообще никакой видимой опасности пока не было...

Человек держал путь к городу, полагая, что там, пожалуй, легче будет затеять свой след.

Силуэты окраинных строений Губахи обозначились значительно раньше, чем беглец ожидал. Вскоре он прихромал к дощатому сараю, за стеной которого фыркала лошадь, возле его подветренной стороны немного передохнул, собрался с мыслями. Первоначальное свое намерение он вдруг изменил: в город ему заходить не следует. Ясно, что по многим адресам, и в первую очередь в милицию Губахи, полетят набатные телеграммы: «Из мест заключения бежал Кравцов Николай Миронович, двадцати шести лет, русский, роста среднего, худощавый, смуглолицый, черные волосы коротко подстрижены, зубы белые, ровные, особых примет не имеет. Одет в поношенный бушлат военного образца, в стеганые ватные брюки, на ногах серые подшитые валенки, на голове красноармейский шлем...»

С тоскливым завыванием свистел встречный ветер, ныла нога. Николай упрямо ковылял по снежному бездорожью. Сердце его было полно недобрых предчувствий, но он знал одно: поступил правильно, когда, воспользовавшись благоприятным моментом, уже с охраняемой строительной площадки шагнул в темноту вьюжного вечера...

В полночь подошел к незнакомому поселку, примыкавшему к тайге. Возле бревенчатой изгороди у крайнего подворья долго стоял, вглядываясь и прислушиваясь. Поселок спал — ни живой души на улицах, ни одного огонька в окнах, ни одного человеческого звука. Только где-то лениво и беззаботно тявкала собака.

Заходить в поселок или, как и Губаху, обойти его стороной?

Нет, Николай не рассчитывал на чье-либо гостеприимство — у него было куда более скромное желание: тайком проникнуть на какой-нибудь чердак, прижаться к теплomu борову дымохода и вздремнуть хотя бы часок.

Тепло и запахи человеческого жилья настойчиво влекли к себе беглеца. И он не устоял.

По улице, засыпанной снегом, Николай ковылял чутко, настороженно, с опаской разглядывая дома и добротные надворные постройки, крытые дранью. «Просторно люди живут, — подумал он хозяйски-расчетливо. — Не то, что у нас, под Воронежем...»

Возле одного из домов, украшенного фигурной резьбой и с наглухо закрытыми ставнями, ненадолго остановился. После минутного колебания подошел к воротам с дощатым навесом, бесшумно повернул рукоять щеколды и плечом осторожно нажал на ворота. Петли скрипнули, и во дворе, гремя цепью, зарычал пес. Николай отпрянул, с горечью судив о том, что придется выбросить из головы мысль об отдыхе в тепле и о сухаре...

Он уже был на выходе из поселка, когда из калитки вышла женщина в мужском полушубке, закутанная в толстый шерстяной платок и с узелком в руке.

— Ты что ль, Василь Степаныч? — спросила женщина приятным, доверчивым голосом.

Молча приблизившись к ней, Николай протянул руку к узелку. Женщина тихо вскрикнула:

— Ой!.. Чего ты?

— Не бойся, тетка, не трону, — хрипло сказал он, досадуя на самого себя, и вновь заковылял по ухабистой дороге.

Сразу же за околицей начиналась угрюмо-таинственная заснеженная тайга, простирающаяся на сотни километров. Взмокший от пота, Николай с облегчением расстегнул отвороты шлема и верхние крючки бушлата. Медленно, с краткими остановками, шел он почти всю долгую декабрьскую ночь, выбился из сил, и порой ему казалось, что вот-вот в изнеможении упадет и больше уже не встанет, но страх подхлестывал, страх гнал его вперед...

На рассвете глухая таежная дорога привела Николая на маленькую железно-дорожную станцию. Пристанционный поселок просыпался: то там, то здесь вспыхивал свет, скупо пробивающийся через метель.

И на этот раз благоразумие не удержало его: слишком устал он и слишком проголодался, чтобы без отдыха в тепле продолжить свой путь.

Прихрамывая, теперь уже без палки, Николай, чтобы не вызвать подозрений, старался идти так, как обычно ходит на работу трудящийся люд: не слишком быстро и суетливо, но и не очень медленно. Но то, что он не местный житель, выдавали его шлем и бушлат, обсыпанные подтаявшим снегом: даже круглый дурак поймет, что ранний пешеход провел ночь отнюдь не в теплой постели. И даже не под холодной кровлей. А кто теперь, в условиях военного времени, когда действует строгий комендантский час, шастает по ночным дорогам. Ясное дело, либо, как говаривали в старину, тать, либо фашистский диверсант, не иначе.

Поняв, что совершил непростительную и непоправимую оплошность, Николай принялся ругать себя за безрассудство, но отступить было поздно, да, пожалуй, и не нужно: в панике за одним неверным шагом могут последовать и другие...

Так он и шел вдоль поселка по-волчьи настороженно, готовя себя к любой неожиданности.

На перекрестке двух улиц остро вдруг пахнуло свежееиспеченным хлебом. Судорожно глотая слюну, Николай увидел фургон, возле которого хлопотали двое: бородатый мужчина и женщина. Выждав, когда они с носилками скроются за дверь, он без раздумий подошел к фургону, схватил буханку и поспешил за угол пекарни...

2

Четверть часа спустя Николай вышел к станционным путям и, осмотревшись, забрался в открытый четырехугольный полувагон с углем, присыпанным снегом. Радуюсь второй удаче, он присел на корточки, прислонясь к стене вагона, и стал ждать отправления. Лязгнув буферами, поезд тронулся и набрал скорость: загромыхали колеса на стыках рельсов, застучали от пронизывающего ветра и зубы Николая.

Хорошо, если поезд остановится на первой же станции, а если будет громыхать часа два подряд?..

«Разве что спрыгнуть», — подумал Николай и распрямылся, чтобы перевалиться через борт. Увидев, однако, как на обочине мелькали деревья, отбросил мысль о прыжке — поздно.

И опять свернулся калачиком, прислушиваясь к злорадному перестуку колес и разбойному свисту ветра. В душе его шевельнулся страх: «Неужели все этим и кончится?..»

Николай протестующе распрямылся и принялся энергично обхлопывать себя. Но сил у него было уже мало, и он быстро выдохся.

А поезд продолжал мчаться, а свирепый ледяной ветер безжалостно выдувал

из-под бушлата скудные остатки тепла, а вместе с ними и всякую надежду на жизнь.

Николая уже начало клонить в обманчиво-сладкий сон замерзающего, когда паровоз вдруг ободряюще загудел и начал сбавлять скорость. Николай хотел вскочить, но не смог — руки и ноги одеревенели. Наконец, с трудом распрямился и потихоньку выглянул из-за борта. Сердце его так и опустилось: на станционном здании прочитал: «Губаха»...

Это значило, что ночью он потерял ориентировку, сел не в тот поезд и возвратился чуть ли не на исходные позиции побега. Более несуразный поступок трудно и придумать!..

Как же теперь быть?

Остаться в поезде — значит, наверняка замерзнуть, сойти с него — все равно что на людной улице во всеуслышание крикнуть: «Люди добрые, хватайте меня, я — беглец!..»

Что делать?

Николай не заметил, когда поезд снова тронулся, а заметив, уже более не терзался сомнениями: перевалился через борт и, щадя больную ногу, начал опускаться по металлической лесенке. С нижней скобы спрыгнул не совсем удачно: упал, ткнулся лицом в снег, тотчас же вскочил и, прихрамывая, пошел на пристанционную улицу с аккуратными деревянными домами и свернул в первый же переулочек. Перешел в другой, стремясь как можно скорей и незаметней выбраться из города. Наконец позади остались окраинные домики, и он, все еще находясь под впечатлением только что пережитого, облегченно вздохнул: «Как-жестя, пронесло...»

Невдалеке темнела припорошенная снегом тайга. «Заберусь в ее глубину, разведу костер и возле него отдохну», — решил Николай.

Но что это там, почти перед самым лесом, протянулось неширокой серой полосой, над которой висел густой туман? Догадка его не обрадовала: это же Косьва!..

Вскоре Николай стоял на берегу быстрой горной реки, по которой чуть ли не сплошной массой плыла шуга вперемешку со снегом, и чувствовал себя так, будто уперся в высокую крепостную стену...

Позади что-то зашуршало — это паренек лет десяти съехал на лыжах с пригорка. Николай поманил его к себе и спросил, далеко ли до моста.

— А вон аж за теми домами, — ответил паренек, шмыгая носом.

— К нему дорога только по городу?

— Можно и напрямик, но снег-то, ишь какой!

— Да, да, конечно, — поспешил согласиться Николай. — На лыжах ты бегаешь ловко, а вот плавать еще небось не научился.

— Эт почему ж? — обиделся паренек, задетый за живое.

— А где плавать-то? Река-то неглубокая...

— Ну да — неглубокая, — возразил паренек. — Да в ней есть такие омуты...

— Что, и перекатов нет?

— Эт почему ж? Видите сухое дерево? Как раз против него перекат. Мне всего вот так, — паренек приложил ребро ладони к горлу. — А другой вон аж за тем поворотом, но тот поглыбже...

Паренек уехал, а Николай прошелся вдоль берега и остановился возле сухого дерева. Вода тут бурлила, перемешивая шугу, и, будто чем-то недовольная, сердито шипела. «Придется переходить вброд. Но днем нельзя, люди сразу заподозрят неладное... Но где пробыть до темноты? Где?..»

Ничего не придумав, Николай вздохнул и нехотя побрел назад к крайним домикам — не оставаться же на берегу до вечера.

На отшибе, под тремя старыми кривыми березами, одиноко стоял ветхий, покосившийся домишко в три окна и под тесовой крышей, потемневшей от времени. Над его трубой, пригибаемый утихомирившимся ветром, приветливо вился кудлатый дымок, напоминая беглецу о домашнем тепле и уюте. «Будь что будет!» — с отчаянной решимостью подумал Николай и направился к неказистому домику.

На стук вышел старик с окладистой седой бородой в лоснившейся телогрейке и в валенках с самодельными калошами из автомобильных камер. Он вопрошающе оглядел подозрительного путника скорбными глазами, но на его: «Здравствуй-те!» почему-то не ответил.

— Мне бы, папаша, обогреться, — громко, считая, что старик глухой, запоздало раскаиваясь в новом неосмотрительном поступке, сказал Николай. Можно?

— Отчего же нельзя? Тепла не жалко. Заходи! — пригласил старик, пропуская его в сени.

В домике было жарко и раздражающе пахло чем-то необыкновенно вкусным, отчего у Николая закружилась голова. При всем том успел он заметить на простенке фотографию военного моряка, похожего на хозяина. Простенькая рамка его была обвита черной ленточкой.

Старик придвинул табурет к плите, в которой весело потрескивали березовые дрова, и молчаливо пригласил его сесть. Ощупываяще оглядывая незваного гостя, неспешно свернул сигарку и протянул кисет Николаю:

— Закуривай.

От долгого пребывания на холоде пальцы Николая распухли, и ему пришлось приложить немало усилий, чтоб свернуть папиросу. Зато с каким наслаждением втягивал потом он дым крепчайшего самосада!

— У тебя, папаша, не табак — горлодер!

Старик вроде бы и не слышал похвалы, беспричинно покашлял в ладонь и, как бы между прочим, поделился новостью:

— А у нас тут, паря, вся милиция на ногах — из лагеря бежал заключенный.

На мгновение Николай так и обмер, но, спохватившись, нашел в себе силы, чтобы заметить спокойно-рассудительно:

— Поймают, куда он денется?..

И, дважды кряду затянувшись, отрекомендовался:

— Я, папаша, завербованный на лесозаготовки, да вот беда — здоровьишко у меня хилое, прямо сказать, никудышное... Обидно: ни воевать не годен, ни трудиться как следует... И климат тут больно суровый. Решил вот назад, в родные края податься... Так что из-за меня, пожалуйста, не беспокойся...

— А чего ради мне беспокоиться-то? — возразил старик, подкладывая поленья в плитку. — Я просто так, на всякий случай предупредил, чтоб в курсе дела был...

«Поверил или не поверил старик?» — взбодораженно гадал Николай, безо всякого интереса наблюдая за тем, как с веселым треском горят поленья.

Его уже не радовал ни отдых в тепле, ни самокрутка. Надо уходить, надо немедленно уходить...

Но куда? Да и какой смысл? В любом случае он в руках молчаливого старика...

А может, все-таки поверил? В конце концов, какие у него основания для недоверия?

Старик между тем налил в алюминиевую миску пахучего грибного супа и пригласил Николая к столу, накрытому потертой на углах клеенкой:

— Иди, паря, нутро погрей.

— Спасибо, отец, я не голоден, — дипломатично отказался Николай, сглатывая клейкую слюну.

— Чего артачишься-то? Садись! Только вот насчет хлеба не обессудь, — старик виновато развел большие, узловатые руки.

— Хлеб, папаша, у меня есть. — Николай поспешно достал из-за пазухи наполовину обломанную и обкусанную буханку. — Вот, могу даже поделиться...

— Да уж какой там, прости господи, дележ!

Во всю свою жизнь Николай не едал ничего более вкусного, чем этот аппетитно пахнущий грибной суп. Он хлебал его со вкусом, ненасытно жадно и был по-детски несказанно рад, когда старик подлил ему еще целых два половника!

Разморенный теплом и пищей, Николай вдруг понял, что засыпает. Он резко встряхнулся, помотал головой, но это не помогло: веки отяжелели и закрывались сами собой.

— Ты, паря, может, поспишь? — будто откуда-то издалека дошел до его тускнеющего сознания голос старика. — Приляг вот тут, на диване.

— Нет, нет! — испуганно запротестовал Николай. — Мне надо идти...

Но, сломленный смертельной усталостью, он грудью навалился на стол и, подложив под левую щеку скрещенные ладони, тотчас же забылся. Спал, однако, недолго и некрепко: как у зайца на дневке, подсознательное чувство опасности заставило его и во сне быть начеку. Открыв глаза, огляделся.

Старик сидел против окна на низеньком стульчике и, приладив на переносье старенькие очки, подшивал валенки.

— Чего изводишь-то себя? Раздевайся да поспи, — посоветовал он и, по-видимому, догадываясь, кто перед ним, прозрачно намекнул: — До вечера-то ого-го как далеко!

Полностью уверяя себя старику, Николай послушно и быстро разделся, снял валенки, пристроил их возле духовки и, подложив под голову бушлат, лег на деревянный диван. Блаженно потягиваясь, успокоенно подумал: «Он ведь уже мог выдать меня, но не выдал. А еще одну ночь без сна мне все равно не выдержать...»

Пришла ему и другая мысль, не лишенная логики: «А может, старик давно уже дал знать милиции и теперь ждет ее появления?» Но мысль эта пришла, когда Николай стал вновь засыпать и не в силах был разомкнуть слипшихся век даже в том до невыносимости нежелательном случае, если бы милиция действительно появилась и приказала бы ему встать...

4

Гостеприимный окраинный домик под тремя березами Николай покинул, когда короткий зимний день полностью погас. Прощаясь с хозяином, он поблагодарил его:

— Душевное спасибо тебе, папаша! Будь я верующим, вымолил бы для тебя крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

— В том-то и беда, что вы, молодые, не верите, — горестно вздохнул старик. — Века люди верили, а для вас Всевышний ни на вот столечко не нужен. Вы и без него надеетесь прожить. А того вам, неразумным, невдомек: без Бога — ни до порога...

— Так вот оно, папаша, видишь, как несуразно получается, — мягко возразил Николай, боясь ненароком оскорбить религиозные чувства своего доброго собеседника. — Гитлер тоже, говорят, в Христа верил, у солдат его даже на пряжках выдавлено: «Гот мит унс» — «С нами Бог». Так что, нам с Богом-то, выходит, не по пути...

— Мой Андрюша, — старик кивнул на портрет, — он примерно вот так же, былало, рассуждал. А Господь что ж, Господь взял да и наказал его. — Губы старика мелко задрожали. — В позапрошлую пятницу похоронка пришла. И старуху мою свалила. Боюсь, что насовсем...

Желая хоть как-то утешить убитого горем отца, Николай сказал, что у него тоже трое братьев на войне и он с прошлой весны о них ничего не знает.

— Дай-то Бог, чтоб вернулись они невредимыми... Да и тебе... Ежели твои, паря, намерения светлые, людям не во вред, пускай он и тебе поможет.

Метель давно стихла, небо вызвездило. На берегу, возле сухого дерева, Николай огляделся, разделся догола, аккуратно завернул белье и валенки в бушлат и, поеживаясь, перетянул узел брючным ремнем. Продавив босой ногой прибрежный ледок, с содроганием вошел в бурлящую реку. К немалому удивлению его и радости, вода показалась ему чуть ли не горячеей...

Дно было неровное, каменистое, Николай ступал по нему осторожно, чтобы случайно не споткнуться и не намочить одежды. Все тело его цепенело, а сердце, которое Николай, как всякий здоровый человек, никогда не чувствовал, сейчас будто сдавило железным обручем...

По реке плыла густая шуга, тонкие льдинки с шуршанием наползали друг на друга и больно царапали бедра. Клонясь боком к течению, Николай упрямо шел вперед, держа над головой связанную одежду. Он еще не добрался и до середины реки, а вода уже была по грудь и шуга царапала теперь плечи и шею. Он, ступая еще более осторожно, мысленно приговаривал: «Только бы не споткнуться, только бы судорога не свела...»

Шаг, еще шаг...

О том, что дно может пойти на понижение или что в неровном каменистом ложе реки может оказаться ямка, Николай не думал. А между тем именно такая опасность его как раз и подстерегала: в каких-нибудь десяти шагах от берега он ощутил ногой опору лишь после того, как окунулся с головой...

Но после этого глубина стала уменьшаться. Обрадованный, Николай заспешил и, наткнувшись на большой отшлифованный камень, с трудом удержался на ногах.

На снег выбрался окостеневшим. Стуча зубами, долго развязывал несгибающимися пальцами узел, с еще большими трудностями натягивал на себя белье и одежду, не сумев застегнуть и половины пуговиц. Несколько минут, разгоняя кровь, энергично взмахивал руками и осторожно — правая нога еще побаливала — приплясывал. Потом, не оглядываясь, заторопился к спасительному, как ему казалось, лесу...

В тайге действительно было на удивление тихо и даже безмятежно: ни тебе крика птичьего, ни рыка звериного. Лишь время от времени где-то вдалеке с дробным перестуком проходили поезда. Протяжные гудки их постепенно сходили на нет, теряясь в таежном безбрежье.

По глубокому рыхлому снегу Николай пробирался медленно, с частыми передышками, но с каждой минутой все дальше и дальше уходил он в тайгу, навстречу неизвестному...

В полночь, выбившись из сил, Николай надумал сделать большой привал. Под старыми елями, низко опустившими лапчатые ветви, разгреб снег, натаскал сушняка и в предвкушении отдыха у костра полез в карман ватных брюк за спичками. Коробочка, хотя и была располовиненной, досталась ему дорого: отдал за нее дневную пайку хлеба. Готовясь к побегу, он целый месяц берег ее, как драгоценность, и теперь вот настал для нее час сослужить ему неопенимую службу.

Неладное Николай почувствовал сразу же, как только рука его оказалась в кармане: там было подозрительно влажно от пота...

Нет, невозможно передать того, что ощутил он, когда, дважды чиркнув спичкой, убедился, что отсыревшая сера осыпалась, а бумажная терочка коробки провалилась! В сердцах Николай смял злосчастный коробок и сгоряча выбросил его в снег...

Ориентируясь по громыхающим поездам и по звездам, Николай держал направление на юг. Сделает две-три сотни шагов — минуту-другую отдыхает.

Местность была гористой: то медленный подъем, то крутой спуск. Это изматывало.

Пересекая крутосклонную глубокую расщелину, Николай обо что-то споткнулся и скатился с невысокого обрыва. Потирая ушибленный локоть, он громко чертыхнулся и почуял запах дыма. Недоуменно огляделся. За спиной в обрыве — дверь, от нее — расчищенная тропка к штабелю дров. «Охотничья землянка», — догадался Николай и хотел было уйти, но передумал и плечом нажал на дверь. Она легонько скрипнула, но не подалась.

— Кто там? — послышался встревоженный мужской голос.

— Человек.

— Знамо дело — не медведь... А по какой примерно нужде в этой глухомани? Да ишшо в такой час?

— Нужда простая — заблудился... Всю ночь вот плутаю, из сил выбился.

После минуты тишины загремел деревянный засов, и дверь со скрипом распахнулась:

— Заходи!

Освещенная мерцающей коптилкой, землянка выглядела довольно просторно: шагов пять в длину и шага четыре в ширину. Стены и потолок рубленые, черные от копоти. Чугунная печка с дотлевающими головешками, столик с ножками крест-накрест, чурбак вместо табурета да примост у задней стены, на котором валялись какие-то лохмотья, — вот и вся обстановка. Хозяин землянки — давно не бритый и не стриженный мужик — стоит в углу и наизготовку держит винтовку. В облике его было что-то от зверя. И не только потому, что к его волосистой растительности давным-давно не прикасались ни бритва, ни ножницы, ни даже расческа, — в маленьких, глубоко сидящих глазах таилось что-то дикое, свирепое...

— Здорово, хозяин! — приветствовал его Николай.

— Бывай нехворым и ты, — угрюмо отозвался мужик и ногой, обутой в кирзовый солдатский сапог, придвинул чурбачок поближе к печке и скорее приказал, чем пригласил: — Садись!

Николай снял шлем, расстегнул пуговицы бушлата и, устало опускаясь на чурбак, с удовольствием протянул руки к огню.

— А теперь докладывай: кто ты? — потребовал бородач.

— Это что же, допрос?

— Считай как хочешь, но отвечай начистоту — из лагеря бежал?

Николай лишь недобро взглянул на новоявленного «следователя».

— Да ты не скрытничай — сову видать по полету...

— К чему ж тогда неумные вопросы? Лучше бы ужином угостил.

— И угощу! Отчего же бы и нет? — охотно согласился бородач, вешая на стену винтовку. — Как говорится, бог велит — пополам делить. Харч у меня, правда, простой, но да ведь и то сказать — чем сам питаюсь, тем и доброго человека потчую...

На столике появилась вареная медвежатина, россыпь кедровых орехов и глиняная кружка брусничного отвара.

— Ешь на здоровье, а заодно и поведывай, что в мире-то деется?

— Известно что — война.

— Это само собой, а вот на чьей стороне нынче-то перевес?

«Долго же ты в медвежьем углу живешь, если о таком не знаешь!» — подумал Николай и сказал, что наконец-то и нашим улыбнулось счастье: под Сталингра-

дом недавно окружена целая армия Гитлера. В огненный котел попало больше трехсот тысяч солдат и офицеров.

— Гос-споди ты боже мой! — удивился бородач. — Этакую-то махину легко ли удержат? Я так думаю — прорвутся...

— Вряд ли... Теперь ведь все по-иному, теперь и наш боец стал куда опытней, и немецкий солдат уже далеко не тот, каким был в начале войны. Сбили с фрица наглуую спесь!

— Эхе-хе-хе, — протянул бородач, и не понять было, то ли он обрадовался тому, что услышал, то ли, наоборот, огорчился. — Выходит, что ж выходит — войне конец?

— До конца еще далеко, но, судя по всему, перелом произошел. И бесповоротный!

Подперев ладонями налитые жиром щеки, бородач молча и, как показалось Николаю, тоскливо уставился на огонек коптилки.

— Хлобыстнуть бы теперь стакашка по два водки! — мечтательно вздохнул он и потряс кудлатой головой, как бы отгоняя бесполезные мысли.

— Не мешало бы, — согласился Николай, запивая медвежатину терпковато-кислым отваром.

После обильной еды с ним произошла та же история, что и в домике под тремя березами: заснул прямо за столом. Он даже не слышал, как бородач заботливо уложил его на примост и прикрыл своей потрепанной солдатской шинелью. Спал Николай беспробудно остаток ночи и большую часть следующего дня. Проснулся освеженным, пободревшим, хотя во всем теле была ломота. Открыв глаза, он не сразу вспомнил, где находится и как сюда попал.

— Ну и спал же ты, мил-человек! — сказал бородач, хлопотававший у печки. — Как святой праведник спал — даже с боку на бок не перевернулся. А я в твою честь подстрелил матерого глухаря. Умывайся да к столу — свеженькой дичатинкой попотчую...

— Богато живешь, — заметил Николай, разглядывая увесистые куски жареного мяса.

Бородач горделиво приосанился:

— Да пока, слава Богу, на пустоту в желудке не жалуюсь. Только вот хлеба черт-ма и опять же соли. Но я привык... В тайге, паря, не пропадешь, она, родная, и еду-пищу дает, и от злого глаза укрывает.

— Ты что же — дезертир? — в упор спросил Николай, еще ночью догадавший-ся, с кем имеет дело.

— Он самый.

— И давно в бегах?

— Да на второй уж год, считай, перевалило.

— Не одичал без людей-то?

— А я об них, об людях-то, не очень тужу. Что мне в них по теперешним временам? Вот только по бабе скучаю, иной раз, признаться, невмоготу бывает... Опять же и по ребятишкам тоскую. Четверо их у меня. Три пацана и одна девчущка. Чуть не каждую ночь снятся... Ты-то женатый?

— Женатый... Тоже сынишку имею и дочурку.

— Дети всему делу голова... Ради детишек, паря, все стерпишь...

— А поймут ли они тебя, когда вырастут? Вернее, захотят ли понять?

— Отчего ж бы и нет?

— Ладно, допустим, дети поймут... А как перед законом-то оправдываться будешь?

— Это смотря перед чьим... Ежели, примерно, верх окажется за немцами...

— Можешь не сомневаться — победят наши! — с горячностью заверил Николай.

— Как-нибудь выкручусь и тогда... Советская-то власть, она хоть и строгая, но навроде матери родной — отходчивая и незлопамятная... Опосля победы таким, как я, глядишь, и амнистию объявят...

— А если поймают до победы? — не щадя самолюбия собеседника, допытывался Николай. — За дезертирство ведь полагается шлепка!

— Это если на фронте... Там под горячую руку и на страх другим расстреливают... А в тылу какой смысл? Государству выгодней осужденных на передовую отправить... Самое же главное, вряд ли им удастся меня поймать. Места тут глухие — легче с ведьмедем-шатуном столкнуться, чем с кем-нибудь из людей. За тринадцать месяцев ты вот, считай, первый... Но тебя ко мне, видать, сам бог послал... Ты ведь, надеюсь, составишь мне компанию?

— У меня другие планы.

— Да какие у тебя могут быть планы? На люди тебе показываться нельзя, а самостоятельно скрываться... У тебя ведь ни оружия, ни даже топора... Без всего этого, милый мой, в тайге сгинешь, как дождинка в море. Так что для тебя наимыгоднейший резон — ко мне в компаньоны. Со мной, брат ты мой, заживешь как у Христа за пазухой. Оставайся!

— Спасибо, но не могу.

Бородач потускнел, нахмурился.

— Зря! Попомни мое слово: опосля спохватишься, да поздно будет. Локоть-то — он вот, да попробуй его укуси... Или, может, обзавелся надежными документами?

— У меня вообще никаких документов.

— Ну и ну, — бородач укоризненно покачал кудлатой головой. — Никак не пойму я тебя: или ты скрытный, или попросту бесшабашный... Поживи недельку-другую, силенок наберешься, успокоишься. Да и власти тогда, надо полагать, махнут на тебя рукой. Решат, сам себя-то наказал беглец, в тайге загинал... А по горячим-то следам они тебя в два счета сграбастают. Так что не отнекивайся. Куда тебе торопиться? Кто и где тебя ждет?.. Значит, отказываешься категорично? Эх, неразумная голова!.. Я думал-мечтал с тобой по-братски пережить лихолетье, но раз такое дело... Что ж, иди, достигай своего... Я тебя самолично выпровожу.

Через пять минут они уже были в пути. Впереди, тяжело дыша, грузно шагал расстроенный дезертир, за ним — Николай. Пологий спуск и крутой подъем, снова спуск и снова подъем. Когда его перевалили, бородач, снимая повязку с глаз Николая, сказал с грустью:

— Теперь можно и распрощаться... Иль, может, передумал, а?.. Эх, паря, отказываешься ты от своего счастья, — сожалеючи вздохнул бородач. — Ну, да Бог тебе судия!

Пожав руку Николаю, бородач увалистой походкой зашагал назад, вызывая в душе Николая разноречивые чувства.

6

В полночь Николай выбрался к железной дороге и побрел по шпалам. Снега на полотне было намного меньше, и идти стало легче.

Над горами висела круглая луна, окаймленная ярким морозным кольцом, в тайге было светло и тихо до звона в ушах. Шла третья ночь скитаний, и на душе у Николая было сравнительно спокойно: острота ощущения опасности поуменьшилась, точнее, притупилось ее восприятие.

По шпалам он не прошел и километра, как его обогнал заиндевевший товарняк. Поезд шел на подъем, и можно было легко вскочить на подножку тормозной площадки, но у Николая были слишком свежи впечатления от езды в угольном вагоне, чтобы соблазниться возможностью подъехать...

За изгибом железной дороги показался красный огонь семафора, а чуть дальше светило окно будки стрелочника. Поразмыслив, Николай свернул в тайгу и, обойдя пост стрелочника, подошел к рубленому зданию полустанка.

В крохотном зале ожидания, возле круглой печи, обитой железом, одиноко дремал художавый и давно не бритый железнодорожник. Он сонно-равнодушно взглянул на вошедшего и опять закрыл глаза. Николай опустился на другой конец деревянного дивана, прислонился к его высокой спинке и, прислушиваясь к размеренному тиканью настенных часов, не заметил, как заснул. Вероятно, он проспал бы долго, но его бесцеремонно растолкали:

— Эй, ты, слышь, что ль?

Николай с тревогой очнулся. Возле него — небритый железнодорожник.

— В чем дело?

— Поезд прибывает!

— Какой?

— На Губаху.

— Мне в другую сторону.

— А я грешным делом, подумал: не проспит ли человек? — сказал железнодорожник, словно бы оправдываясь. — А твой поезд прибудет часа через полтора.

«А что, теперь, пожалуй, можно и в поезде попытать счастья», — подумал Николай. Но пришла ему и другая, отрезвляющая мысль: не рано ли? Не кончится ли эта поездка крахом всего задуманного? И вообще — стоит ли ускорять ход событий, которые пока что развиваются вполне благоприятно?

Колесался Николай до последней минуты. После же прихода поезда, отбросив всякие сомнения, он решительно вышел из теплого помещения на мороз и направился к предпоследнему вагону, в тамбуре которого не стояла проводница. Войдя в вагон, он с непринужденностью бывалого пассажира начал выискивать свободное место. В вагоне, скупо освещенном двумя керосиновыми фонарями, было тесно, и Николаю с трудом удалось найти укромное местечко на самой верхней, багажной, полке. «Это даже к лучшему», — решил он, прикрываясь бушлатом.

В головах оказался туго набитый «сидор», пахнувший ржаными лепешками и калеными подсолнечными семечками. Эти с детства знакомые запахи напомнили родной воронежский край, и Николай после беспорядочной и быстрой смены картин прошлого вдруг увидел себя сельским учителем в окружении присмиривших ребят и услышал свой грустновато-взволнованный голос: «Что ж, ребятки, пожелать вам на прощанье? Хоть изредка вспоминайте все то, чему я вас учил. Главное, никогда, ни при каких обстоятельствах не забывайте о высоком предназначении человека... А я вам обещаю не уронить чести бойца Красной Армии...»

С той поры прошло шесть с лишним лет. Это значило, что те, кому тогда было двенадцать-тринадцать лет, теперь уже взрослые и, надо полагать, стали защитниками Родины. Кто-то из них, возможно, уже успел отличиться на поле боя, а кто-то и принять честную солдатскую смерть. Вот только сам он попал в глупейшее положение!..

— Молодой человек, а молодой человек! — Проводница потолкала по плечу Николая зачехленными сигнальными флажками. — Где сядилсь? Предъяви билет.

На раздумья не было времени, и Николай, сохраняя хладнокровие, с удивлением произнес:

— Вот так на! А разве тебе ничего не говорила проводница соседнего вагона?

— А что она должна была сказать?

— Странно... Мы где сейчас?

— Подъезжаем к Чусовому.

— Безобразие!

Возмущаясь безответственностью людей, которые своей забывчивостью достав-

ляют другим неприятности, Николай спустился с полки, накинул на плечи бушлат и стал протискиваться к выходу. Ничего не понимавшая проводница лишь растерянно глядела ему в спину...

Поезд еще не остановился, а Николай, боясь оказаться на людном перроне, уже соскочил с подножки. Застегивая бушлат, он зашагал мимо пристанционных построек. В темном переулке, возле продпункта, выстраивалась неомундированная команда новобранцев. Николай хотел было пройти незамеченным, но на него вдруг ни с того ни с сего накинулся усатый старшина:

— А ты, раззява, где всю ночь пропадал? У молодки под боком? А ну марш в строй и — в столовую!

Не ожидая такого оборота дел, Николай козырнул: «Слушаюсь!» — и вскоре уже сидел за длинным столом. Он доедал первое — пшенный суп с мясом, — когда усатый старшина, прохаживающийся вдоль прохода между столами, приглядевшись к нему, спохватился:

— Подожди-ка, служба, а ведь ты вовсе не из моей команды! Как же посмел, в зуб тебя ногой!

— Ты же сам приказал...

Старшина смущенно кашлянул и, не глядя на Николая, стал оправдываться:

— По ошибке-то мало ли чего не бывает... Слышал небось побасенку, как одна молодуха черта приняла за родного мужа... А у меня еще с вечера один кимарик от команды отбился. Такой же чернявый и в бушлате... Так что вытуривайся!

С сожалением выходя из-за стола, Николай подумал: «А не попытать ли счастья у этого усача?»

— Товарищ старшина, вас можно на минуточку, — по тактическим соображениям перейдя на «вы», попросил он.

— Чего еще?

— Дело такое... Только, пожалуйста, отойдем в сторонку... Понимаете, товарищ старшина, какой глупый казус со мной получился, — я тоже отставший... Разрешите пристроиться к вашей команде. Помогите выбраться из беды... Я уже обращался к военному коменданту, а он сказал: сумел-де отстать, сумеешь и догнать...

— Тебе куда?

— В Череповец.

— Эва, а мы в Буй направляемся.

— Ну хоть до Буя, а уж там я сам как-нибудь.

Старшина в раздумье почесал затылок.

— Право, и не знаю, что с тобой делать... Ладно, так и быть, возьму грех на душу. А коль такое дело — иди и второе доедай.

От радостного волнения у Николая зачастило сердце. А час спустя он уже был на полке пассажирского вагона и, блаженно потягиваясь, рассеянно поглядывал на мелькавшую за подмороженным окном таинственно-величавую тайгу в зимнем наряде: «Со стороны-то на нее не налюбуешься...»

В купе пришел старшина. На суконной гимнастерке его — нашивка за тяжелое ранение и медаль «За отвагу».

— Как, служба, устроился? — поинтересовался он тоном человека, который делает добро, хотя и бескорыстно, но которому вовсе не безразлично получить за это слова благодарности.

— Отлично, товарищ старшина! Большое вам спасибо!

— Об чем разговор! В солдатской жизни главное дело — что? Взаимовыручка! Как говорил Александр Васильевич Суворов, сам погибай, а товарища выручай!.. Лично я, если хочешь знать, давно бы уж концы отдал, если б не этот железный закон...

Старшина набил трубку махоркой, прикурил и, жадно затягиваясь, рассказал, как однажды, дело было под Великими Луками, при прорыве окружения он был тяжело ранен разрывной пулей в бедро и как совсем незнакомый ему боец, рискуя жизнью, вынес его с поля боя буквально из-под носа противника.

— Так-то вот, дорогуша... А ты уже воевал?

— Пока еще не доводилось.

— Ну ничего, еще повоюешь. Главное дело, чтоб про взаимовыручку не забывал.

Поезд шел медленно, с частыми и длительными остановками — уступал дорогу воинским эшелонам. Из теплушек, разжигая у Николая тоску, доносились заливчатские переборы гармошек и задорные песни...

7

Из Буя Николай выехал на резервном паровозе, направлявшемся в Вологду. Паровоз шел «по зеленой улице», почти без остановок. Если так дело пойдет, думал Николай, то уже ночью вполне можно добраться до Череповца.

Конечно, во сто крат было бы благоразумнее не появляться в этом городе и, тем более, не заходить домой, но ему до зарезу нужно было хотя бы пятиминутное свидание с Олей, чтоб посвятить ее в свои отчаянно-дерзкие планы. Всего только пять минут...

На станции Лежа локомотив вдруг остановили, и, как заявил машинисту дежурный по станции, надолго, может быть, часа на два. Все это время торчать на паровозе — значит, вызвать подозрение у бригады, и Николай решил сойти, сказав своим попутчикам, что пойдет на поиски харчей. «Это даже к лучшему, приехать в Вологду вечером, — утешал он себя, шагая по снежной тропке вдоль дощатого забора. — Там ведь можно столкнуться со знакомыми...»

За дни скитаний после побега Николай уверил себя в том, что и дальше все будет именно так, как он задумал, — то есть, что он непременно побывает дома перед тем, как проберется в зону боевых действий и легализуется, выдав себя за рядового, отбившегося от своей части. Там, на фронте, Николай надеялся встретить второго усатого старшину, который поможет ему осуществить задуманное. Поэтому, увидев идущего навстречу милиционера, он не испытал ни страха, ни даже предчувствия опасности.

— Документы! — потребовал милиционер, остановившись в трех шагах от него. Взгляд у него испытующе-подозрительный, непреклонный...

«Вот и повидался с Олей», — отрешенно подумал Николай. На такой вот случай он заранее, еще в лагере, продумал ответ и, тем не менее, запнулся на первом же слове:

— А какие... яки документы могут быть у дезертира?

— Дезерти-ир? — с придыхом переспросил милиционер, торопливо расстегивая старенькую кобуру. — Ну-ка, поворачивай кругом и — вперед!

— Зря наган-то выхватил, — заметил Николай, унимая внутреннюю дрожь. — Убегать я не собираюсь, хватит, набегался...

— Не рассусоливай! — прикрикнул милиционер.

Протокол задержания он составлял в отслужившем свой век товарном вагоне, снятом с колес и приспособленном под сторожку. Долго и старательно оттачивал он складным ножичком химический карандаш, потом разгладил на хромоногом засаленном столике лист серой плотной бумаги и, глядя на Николая в упор, приступил к допросу:

— Фамилия, имя, отчество?

— Косаренко Иван Дмитриевич.

— Возраст и место рождения?

Николай сказал, что он родился в тысяча девятьсот шестнадцатом году, в селе Репьевка, под Воронежем.

— Местность оккупирована?

— Да.

Милиционер распрямылся, перестав писать, и с такой ненавистью, с таким презрением посмотрел на Николая, что тот поневоле опустил глаза.

— Вот видишь, какой дикий абсурд налицо, — сказал он, плохо сдерживая ярость. — В его родном краю фашисты бесчинствуют, а он... — Не договорив, милиционер стиснул зубы так, что на скулах появились желваки. Потом, взяв себя в руки, продолжил: — Звание?

— Рядовой.

На вопрос о том, где и когда дезертировал, Николай ответил, что свой полк под Ленинградом он покинул еще в сентябре. И, прикидываясь таким простачком, спросил сурового милиционера:

— Часом не бывали там?

— Вопросы задаю я! Твое дело отвечать на них четко и ясно. Понятно?

— А почему же и нет? Я человек, хотя и не дуже грамотный, но голова моя кумекает... А полюбопытствовал потому, шо, может, одну и ту же похлебку едали...

Николай постепенно входил в роль, которую исподволь продумал задолго до побега. На смешанном русско-украинском языке, на каком говорят его земляки, старожилы Репьевки, потомки выходцев с Украины, он без запинки назвал номер «своего» полка, звание и фамилию его командира, упомянул два населенных пункта, где полк вел тяжелые бои и понес большие потери, рассказал несколько боевых эпизодов, услышанных от одного словоохотливого лагерного соседа по нарам.

— При каких обстоятельствах дезертировал?

— Я вже казав: весь август на нашем участке обороны не утихали бои. Получалась така катавасия: то мы шугаем фашистов с высоты, то вони нас... Пид конец полк вывели в тыл, для отдыха и пополнения... С кормежкой було туго, я пишов в поле, картошку шукать. Пробув целый день, испугався — за самоволку пришьют дезертирство, и став настоящим дезертиром...

— Где скрывался?

— А где придется, — вдохновенно фантазировал Николай, усиленно и целеустремленно создавая о себе впечатление глубоко и искренне раскаявшегося отступника. — Наибильше по лесам мотався...

— Воровал? Разбойничал?

— Та ты шо — белены объевся? — искренне возмущился Николай, но, вспомнив, что не святого же апостола изображает, признался: — Один раз, каюсь, был такой грех — стащил буханку хлеба... Опять же белки на меня в большой обиде — на ихние запасы орехов и грибов покушался...

— Как же ты жил?

— А як зверюга неприкаянный... Выкопал себе яму под сваленным деревом, накрыл ее, но разве в ней от холодов спасешься?.. Такая житуха опротивела хуже смерти, и я решил с ней покончить...

Николай видел и чувствовал: его «чистосердечное» признание производит на милиционера благоприятное впечатление. Это подбадривало: доброжелательно составленный протокол задержания не могут не заметить потом и следовательно, и судьи.

Когда милиционер выпросил у задержанного все, что в подобном случае положено выпросить, и дал ему подписать свои показания, Николай мечтательно сказал:

— Як бы меня теперь снова отправили на передовую, я бы воевал честно...

— Это уж военный трибунал будет решать, чего тебе пришпандорить, высшую меру или штрафную роту, — с чувством исполненного долга пояснил милиционер, засовывая протокол в командирскую сумку. — А будь моя воля, я б тебя, сукиного сына, без суда и следствия шлепнул как миленького! Подлым трусам и паникерам нет места на нашей земле!

В душе Николай был безоговорочно согласен с ним, но, продолжая играть роль «раскаявшегося дезертира», взял да и поддел его:

— Храбрость-то надо бы показывать не в тылу...

Милиционер весь передернулся, побледнел и, тяжело дыша, проговорил со страшной яростью:

— Ты, отброс человеческий, и смердящий к тому же... Да знаешь ли ты... Моя грудь... Вот эта самая... Так вот она в рукопашной тремя фашистскими pistolетными пулями прострелена! Так что наперед прошу выражаться поаккуратней, не то я за самого себя не ручаюсь...

«Перестарался, — сокрушенно думал Николай, шагая впереди оскорбленного им милиционера. — Дернуло же меня за язык брякнуть такое... Ты уж, дорогой товарищ, прости, я ведь поставлен в такие условия, что сам черт, и тот может ногу сломать...»

8

Когда перед побегом Николай Кравцов обдумывал версию своего «дезертирства», он не мог не понимать, что ее непременно будут проверять и, стало быть, могут обнаружить в ней уязвимое место: односельчанин и друг детства Иван Дмитриевич Косаренко, чье имя взял себе Николай, в названном полку не служил и, по слухам, пропал без вести еще в первые месяцы войны. Даже самого неискушенного в сложном искусстве дознания следователя это обстоятельство может натолкнуть на крайне нежелательные меры, вплоть до отсылки его к месту «дезертирства».

Как и предполагал Николай, следователь райотдела милиции уже после первого ознакомительного допроса письменно запросил названный им полк, действительно ли из него дезертировал рядовой Косаренко? Самого же Николая, перед тем как отправить в Вологодскую тюрьму, посылал в райвоенкомат на медицинскую комиссию. Мнение докторов было единодушным: годен к строевой службе.

Только теперь, в тюремной камере, Николай по-настоящему осознал, какое непомерно тяжелое бремя взвалил на свои плечи, — отречься от самого себя и под чужим именем отвечать — по законам военного времени! — за мнимую измену солдатскому долгу. Больше того, эту «измену» он еще должен доказать следственным органам и военному трибуналу!

Сумеет ли?..

Но если даже и сумеет, кто поручится за то, что к нему не применят полагающуюся за дезертирство высшую — совершенно справедливую! — меру наказания?..

Однажды Николай так ушел в себя, что начисто забыл, кто он теперь, и никак не отреагировал на распоряжение надзирателя: «Косаренко, вынеси парашу!» Тому пришлось повторить приказание и даже его потормозить:

— Да ты оглох, что ли?

— Виноват, гражданин начальник! — смиренно сказал очнувшийся Николай. Задумался.

— А об чем тебе свою голову-то ломать? — добродушно-ворчливо, но без иронии, пожурил старик-надзиратель. — Напоен? Накормлен?

— Как зять у заботливой тещи! — улыбнулся Николай, подстраиваясь под ипривый тон надзирателя. — И охраняем куда лучше, чем неверная жена ревнивым мужем.

— Что же тебе по нынешним временам еще-то надо?

— Ничего, я всем доволен.

— То-то же... Должен радоваться, что над тобой пули не свистят и снаряды не воют. Этого же, чай, хотел, когда с фронта-то бежал?

— Сущую правду говорите, гражданин начальник! Я и вправду мечтал о тишине и безопасности. Но теперь согласный опять туда...

— Вот за это молодец! Ежли, конечно, всем сердцем почувствовал... Стало быть, в тебе еще не все человеческое погибло...

Изнуряюще медленно тянулись короткие декабрьские дни, бесконечными казались ночи с пугающей тишиной и бессонницей. Сутки складывались в недели, не внося в положение Николая абсолютно никаких изменений: его даже не вызывали на допросы!..

Для чего, спрашивается, следователь затеял эту нудную и совершенно ненужную канитель? Человек же сознался, что он дезертир, стало быть, остается предъявить ему обвинение и направляй его в трибунал. Все ведь просто и ясно, как божий день!

Так Николай и заявил следователю Мартемьянову, когда тот, наконец, вызвал его к себе, в райотдел, на допрос.

— В том-то, любезнейший, и дело, что не все так просто и ясно, как вам кажется, — мягко возразил Мартемьянов, расчесывая на пробор реденькие волосы, слегка тронутые сединой. — И вы это прекрасно понимаете, поскольку по хорошо известной вам причине дали следствию ложные показания, то есть сделали самооговор.

— Я говорил правду!

— Охотно хотел бы верить вам, да вот закавыка-то: в названном вами полку, из которого вы якобы дезертировали, вас не знают. А это, сами понимаете, выбивает почву из-под ваших ног...

— Як це так не знают? Вони шо там — с ума посходили?

— Посходили, нет ли — это уже другой вопрос, но факт остается фактом: в списках личного состава двести восемьдесят четвертого полка фамилия рядового Косаренко Ивана Дмитриевича не значится.

— Так я вже вам казав: полк-то цей був разбит! — наигранно горячился Николай, не сдавая своих шатких позиций. — Может, вони пропали, те самые списки, — я-то при чем? А може, комусь невыгодно признаться в позорном случае дезертирства — за него начальство по головке не гладит. И орденом не награждает... А як шо моим словам не верите... Отправьте меня на фронт, ну, отправьте. Я погляжу, как мои начальники будут отказываться, глядя мне в глаза...

Простодушие и напористость, с которыми Николай доказывал свою «правоту», наконец, требование отправки туда, где от него «отрекались», все это хотя и производило определенное впечатление на Мартемьянова, но, увы, не достигало нужной Николаю цели.

В облике подследственного Мартемьянов улавливал что-то такое, что заставляло усомниться в правдивости его показаний. Следовательская интуиция подсказывала ему: Косаренко вовсе не тот, за кого себя выдает, но ведь сомнения к делу не пришьешь. С другой стороны, если даже исходить из предпосылки, что Косаренко и действительно дезертировал, то и в этом случае следствие зашло в тупик: одного признания подследственного, не подкрепленного объективными доказательствами, недостаточно, чтобы предать его суду военного трибунала.

— Хорошо, — сдался Мартемьянов, уступая настойчивости Николая. — Я еще раз pošлю запрос в штаб полка.

В тесной камере тюрьмы вместе с Николаем ожидали участи двое: рыжий дедина с воспаленными белесыми глазами и благообразный старик, все время ощущающий реденькую бородку. Рыжий обвинялся в том, что, будучи кондуктором товарных поездов, вскрывал вагоны, а благообразному мужику предъявлялось обвинение в уклонении от призыва в армию по религиозному мотиву: вера во Христа-де не позволяет ему братья за оружие. И тот и другой вызывали у Николая недоброе чувство. Его раздражал как животный страх рыжего перед неотвратимым возмездием за кражи, так и покорная готовность баптиста принять любое наказание, которое он считал едва ли не счастливой платой за его любовь ко Всевышнему.

Наблюдая за своими соседями, Николай пытался представить себя на месте следователя, чтобы предугадать его возможные шаги после того, как из полка вторично придет отрицательный ответ. Но, как ни силился, ничего утешительного не видел: исход следствия виделся самым пагубным для всех его далеко идущих планов.

«Может, зря я это все затеял?..»

Тягостные размышления прервало позвякивание связки ключей, скрип задвижки и ворчливый голос надзирателя:

— Выходи на прогулку!

Шагая за рыжим железнодорожником-грабителем, Николай задумчиво глядел себе под ноги. В сердце его — непреходящая тревога: когда и как закончится опасная игра в дезертира?..

Но вот он поднял голову и на секунду-другую остолбенел, нарушив ритм прогулки: возле проходной стоял тот самый капитан, военный следователь, который допрашивал его после первого, рокового ареста. Он стоял рядом с начальником тюрьмы и, о чем-то тихо переговариваясь, посматривал на прогуливающих арестантов. Николай живо представил себе, что произойдет, когда капитан увидит его: «А, скажет, старый знакомый!.. Но почему тебя до сих пор держат в тюрьме и не отправляют в исправительно-трудовой лагерь?..»

На этом и закончится «дело Косаренко», а в «деле Кравцова» появятся новые страницы допросов и новый, еще более суровый приговор, теперь уже за побег...

К счастью, капитан не узнал его. Тем не менее шокный испуг не прошел у Николая и в камере: зачем, почему он тут, этот следователь военной прокуратуры?..

Неужели милиция, признав свое бессилие, передала «дело Косаренко» армейским органам дознания?

Ну, конечно же, так оно и есть! Убедились в том, что никакой он не дезертир, и передали. Поэтому-то капитан и появился в тюрьме. Теперь того и гляди придет надзиратель и с профессиональной бесстрастностью распорядится: «Косаренко, на допрос!»

В гулком коридоре действительно послышались надзирательские неторопливые шаги — куда ему спешить? Вот он остановился возле двери, заглянул в оконце и... отошел. Но у Николая тревога не унялась: не вызвали в эту минуту, так вызовут через полчаса. Или через час.

Как птица, попавшая в клетку, Николай забегал, панически заметался по камере.

В оконце снова показался всевидящий глаз надзирателя:

— Косаренко, прекрати беготню!

Взбудораженный Николай послушно остановился, прислонясь спиной к сто-яку нар.

— И стоять не положено. Пора усвоить: в тюрьме сидят, а не стоят и не бегают... В тоскливом ожидании неизвестного замедленно тянулось однообразие тюремного времени. В голове Николая — бесконечный поток дум. Воспоминания переносят его то в Череповец, к Оле и детям, то в Репьевку.

Где-то там идет большая жизнь со всеми ее сложнейшими противоречиями, радостями и печальями, взлетами и падениями. Люди поднимаются в атаку, варят сталь, доят коров, пекут хлеб, оплакивают погибших, рожают детей, и только он, Николай Кравцов, отгорожен ото всего этого толстыми стенами, и к нему не долезают ее слабые отголоски...

На допрос Николая вызвали лишь в начале февраля сорок третьего. В этот раз Мартемьянов сам приехал в Вологду и разговор начал с радостного сообщения.

— Герои Сталинграда вчера окончательно добились трехсоттридцатитысячную армию Гитлера. Весь народ ликует, а я вот вожусь с тобой, подонком. Обидно и за себя, и в конце концов, за тебя. Ведь тебя же, черт побери, родила русская мать. Разве ж о такой судьбе твоей она мечтала, когда растила тебя? Разве учила она тебя страшной подлости? Ведь — нет же!

— Нет, конечно, — подтвердил Николай. — Она учила меня быть честным и справедливым...

— Вот видишь, я в точку попал! — обрадовался Мартемьянов. — А ты?

— Я всю жизнь стремился быть таким!

— Не похоже...

Следователь прошелся по кабинету, размышляя о загадочном арестанте. Он рассуждал: раз человек выдает себя не за того, кто он есть на самом деле, то, надо полагать, имеет какие-то веские причины. Но какие именно? Что побудило его взять на себя тягчайшее воинское преступление, которое он, судя по всему, не совершал? Участковый со станции Лежа в своем донесении о задержании бездоказательно и не совсем грамотно утверждает: «Данные действия показывают на человека, занимающегося шпионажем». Что, если он прав?..

— Слушай, Косаренко, или как там тебя, — скорее для проформы, нежели ради дела, сказал Мартемьянов, — а может, тебя забросили с той, с фашистской стороны?

«Вон ты куда хочешь повернуть!»

— Вы шо — смеетесь?

— Не строй из себя Ивана-дурачка! Ты же не можешь не понимать: только искренность и чистосердечие спасут тебя от расстрела... Ведь как ты дошел до этого? В тяжелой обстановке попал в плен, побоями и издевательствами фашисты принудили тебя к измене и забросили в наш тыл... Но Родина готова великодушно сохранить тебе жизнь, если во всем сознаешься.

— Гражданин следователь, вы ведете несерьезный разговор! Если бы я був предателем... Фашисты-то, я думаю, не дураки и своего шпиона снабдили бы документами. И с их точки зрения — надежными. Так что не приписывайте мне лишних грехов: в чем виноват — не скрываю и готов отвечать по всей строгости закона...

— Что ж, Косаренко, пускай будет по-твоему, — неохотно согласился с доводами подследственного Мартемьянов. — Ты предстанешь перед военным трибуналом. Он и определит что-то одно из двух: либо жизнь, либо... Да чего же тут на правду-то глаза закрывать? Трибунал вполне может и к стенке поставить. Чтоб у других субъектов, вроде тебя, отбить охоту отсиживаться в кустах в тяжелое для Родины время. И совет мой тебе таков: сумел нашкодить, сумей и ответ держать. На суде это тоже берется во внимание. Судьям, я так думаю, небезразлично знать, до конца ль ты потерянный для общества, иль в тебе еще жив человек...

Сипловатый голос председательствующего — тучного подполковника с отечными кругами под глазами — был подчеркнуто строг и официален:

— Подсудимый Косаренко, признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении?

— А как же, конечно, признаю! — с готовностью подтвердил Николай. Отпираться не стану — виноват я, нарушив присягу...

На все последующие вопросы, а их было немало, он отвечал заученно и с подкупающим «чистосердечием», наигранно сожалея о содеянном.

Как и у следователя, у членов военного трибунала острое недоумение вызвало то, что воинская часть, из которой подсудимый, по его словам, дезертировал, не признавала ни факт дезертирства, ни самого Косаренко.

— Вы, может быть, перепутали номер полка? — допытывался председатель.

— На свою память, гражданин судья, я пока не жалуюсь...

— Допустим, но чем же тогда объясните такую странность: штаб полка не подтверждает ваших показаний?

Николай пожал плечами:

— Откуда мне знать?

— А все-таки? — Председательствующий, как, впрочем, и остальные члены трибунала, не сводил с него подозрительного взгляда, от которого Николаю становилось не по себе. — Ведь должна быть какая-то причина? Как вы сами истолковываете эту несообразность?

— Граждане судьи, вы же хорошо знаете: бойцу про своих командиров не то шо говорить — думать плохо не положено. Иначе яка же это будет армия?.. И если мои командиры отказываются от меня, значит, у них есть причина. К примеру, така. За дезертирство с них могут спросить, и строго, вот они и решили избавить себя от неприятностей... Но я-то почему из-за этого должен дополнительно страдать? При том же, граждане судьи, я ведь еще следователя своего просил... В протоколе его записано... Я просил отправить меня в полк, на очную ставку... Это сделать и вам не поздно...

— М-мда, — председательствующий обменялся многозначительными взглядами с членами трибунала. — А что вы скажете суду в своем последнем слове?

— А шо иного я могу сказать? Виноват и заслужил самую суровую кару... И все же буду просить вас, чтобы вы не наказывали меня смертью. Отправьте меня на фронт, доверьте снова оружие... Понимаю: немногого стоит слово дезертира, но я его все равно произнесу: беспощадно буду мстить фашистам!..

— Суд удаляется для вынесения приговора!

«Выносил» он его нестерпимо долго — так, по крайней мере, показалось Николаю, с ложным пафосом и ложной искренностью до конца разыгравшему преступно неблагодарную роль. Шестое чувство подсказывало ему: члены трибунала поверили в его мнимое дезертирство.

— Встать, суд идет!

Николай всматривался в непроницаемо строгие лица своих судей, исполненной важностью момента. И когда они шли, и когда усаживались за столом, накрытым обветшалым красным сукном, члены трибунала даже ни разу не взглянули в его сторону — для них Николай вроде бы уже и не существовал. Внутри у него все онемело: значит, никаких надежд!..

Будто певец с аккомпаниатором перед началом концерта, председательствующий переглянулся со своими коллегами, мимолетно бросил отчужденный, холодный взгляд на Николая и, откашлявшись, начал металлически суровое:

— Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республи-

ки военный трибунал... признал Косаренко виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 193-9а Уголовного кодекса РСФСР, но, не усматривая по обстоятельствам дела необходимости применения к нему высшей меры уголовного наказания — расстрела и руководствуясь статьями 319 и 320 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и статьей 51 Уголовного кодекса РСФСР, приговорил:

Косаренко Ивана Дмитриевича на основании статьи 193-9а Уголовного кодекса РСФСР с применением статьи 51 Уголовного кодекса РСФСР лишить свободы в исправительно-трудовых лагерях сроком на десять лет без последующего порожения в правах и без конфискации имущества.

Исполнение настоящего приговора в порядке примечания 2 к статье 29 Уголовного кодекса отсрочить до окончания военных действий, направив осужденного на фронт.

Если Косаренко в действующей Красной Армии проявит себя стойким защитником СССР, то мера наказания ему, по ходатайству командования части перед военным трибуналом, может быть понижена, или он может быть вовсе освобожден от отбывания наказания.

Меру пресечения трибунал определил: содержание под стражей отменить, Косаренко из-под стражи немедленно освободить и направить в действующую Красную Армию.

Приговор окончательный и обжалованию не подлежит...»

В зале судебных заседаний, по-казенному мало уютном, на какое-то время устоялась звенящая тишина: только и слышно было, как за широким окном, покрытым толстым слоем намерзи, весело и беззаботно чирикали воробьи.

— Подсудимый Косаренко, вам понятен приговор? — спросил председательствующий уже обычным тоном обычного человека, не обремененного тяжкими обязанностями решать драматические, а порой и трагические судьбы людей.

— Значит, я попаду на фронт? — словно бы не веря тому, что услышал, уточнил Николай. — Значит, мне снова доверят оружие?

— Совершенно верно, — подтвердил председательствующий, не без удивления глядя на осужденного, у которого навернулись на глаза слезы радости. — Вы будете отправлены в штрафную роту, чтобы искупить свою вину.

— Спасибо, сердечное вам спасибо! — поблагодарил взволнованный Николай. Душа его цела и ликовала.

Члены трибунала непонимающе переглянулись: такого им видеть еще не доводилось...

11

— Товарищ майор, рядовой Косаренко прибыл в ваше распоряжение! Молодой, по-цыгански красивый офицер с двумя орденами Красной Звезды и нашивкой за тяжелое ранение, оглядев новичка, устало, но безразлично поинтересовался:

— Что такой худой? Из госпиталя?

— С курорта, — улыбнулся Николай и протянул майору документы.

— А, так, оказывается, ты штрафник? За что осужден?

— За дезертирство, товарищ майор.

Офицер недовольно нахмурился:

— Ну, ну... Откуда родом?

— Воронежский...

— Гм... Земляк, выходит?

Николай насторожился:

— А вы, товарищ майор, из самого Воронежа?

— Нет, из Бутурлиновки.

— А еще воронежцы тут есть?

— Вроде бы нет, а там, кто ж его знает. Людей в запасном полку — тысячи, а я в нем недавно, из госпиталя... Штрафниками у нас тут командует старший лейтенант Перепелкин, к нему и направляй свои стопы... Есть, небось, хочешь?.. Хотя чего об этом спрашивать... Айда на кухню, к повару Самойленкову, и скажи ему, что это я тебя прислал. Обед, правда, уже прошел, ну да, я думаю, он чего-нибудь найдет... Что ж, земляк, искупай вину честно, изо всех сил старайся смыть с себя грязь позора!

— А мне по-иному нельзя, товарищ майор!

Еще на подходе к столовой Николай почувствовал волнующие запахи и, глотая слюну, с опаской подумал: «А что, если от обеда действительно ничего не останется?..»

В огромном зале, вмещавшем не одну сотню людей, сидело всего несколько бойцов. Николай направился к раздаточному окну, вызвал повара и, когда тот, вытирая руки о полотенце, неспешно подошел, по-свойски поприветствовал его:

— Привет, браток!

— За добавкой? — глядя куда-то мимо Николая, спросил лоснящийся повар — таких «братков» его ежедневно осаждают десятки.

— Я от майора Нечипуренко. Он приказал накормить меня.

Повар сощурил хитро улыбающиеся глаза:

— Не покормить, а накормить? А много ли съешь?

— Сколько дашь, столько и съем.

— Ой ли?.. Ну считай, что тебе повезло. Нынче срочно отправили команду, даже победать не успела, — сказал повар и подал миску супа.

Николай набросился на еду с жадностью и через несколько минут уже снова появился у раздаточного окна...

И вторую миску супа съел с такой ненасытной жадностью, как и первую. А есть хотелось, кажется, еще сильнее. Ему бы благоразумно сказать себе: хватит! — а он снова заспешил к раздаточному окну — простительно ль упускать столь счастливый случай?..

...На розыски команды штрафников Николай отправился с непривычно отяжеленным желудком. Вскоре он раскаялся в своей неосмотрительности: ему вдруг сделалось дурно, и он покрылся холодным потом. «Мать честная, это же надо быть таким идиотом!» — с запоздалой беспомощностью ругнул себя Николай, чувствуя, как с каждым шагом ему становится все хуже и хуже...

У входа в казарму, в которой размещались штрафники, он, хватаясь за живот, сперва присел на корточки, а потом и лег прямо на твердый снег...

Три дня Николай провалялся в санчасти запасного полка, но улучшения не было, и его отправили в госпиталь. Он лежал пластом, не вставая, и уже ничего отрадного для себя не видел: силы его быстро угасали...

Однажды, открыв глаза, он увидел возле своей кровати несколько мужчин и женщин в белых халатах. Они глядели на него с грустной безнадежностью...

— Спасите меня, — еле слышно попросил он. — Мне нельзя умирать... Пожалуйста, спасите!..

Врачи о чем-то тихо посоветовались и ушли, не сказав ему ничего, будто он их ни о чем и не просил. Не сочли нужным даже выразить обычное, ни к чему не обязывающее утешение — зачем обнадеживать обреченного?

В ушах Николая вдруг поднялся страшный шум, а в глазах потемнело. Может, вот так и бывает в последние минуты?..

Но кто это снова склонился над ним? Ах, это оказывается, палатная сестра. Но что теперь-то ей нужно от него?..

А что, если ей открыться? Пускай потом напишет Оле, где и как закончил свой жизненный путь ее незадачливый муженек. Чтоб ни она, ни дети всю жизнь не мучились в бесплодных догадках...

Сестра что-то говорит, но Николай из-за шума в голове не слышит ее голоса. Она сует ему какие-то пилюли, силой заставляет проглотить горькую микстуру и показывает на тарелку с творогом и куском белого хлеба. Значит, доктора вовсе не считают его безнадежным?..

Шли дни, и Николай с изумлением возвращенного к жизни человека наблюдал за тем, как мартовское солнце весело и по-матерински щедро ласкало мир. За окном звенела капель, журчали ручьи, подмывая оледенелый снег, и с озабоченностью творцов строили гнезда грачи — по родной многострадальной земле шествовала весна...

Вскоре он поднялся на ноги, но ходить начал, как ребенок: сперва робко, неуверенно и в пределах палаты, потом стал выбираться в длинный коридор. Однажды Николай самостоятельно даже сошел с третьего этажа на первый, в рентгеновский кабинет. На обратном пути, проходя мимо раскрытой двери канцелярии, увидел телефон и, недолго думая, обратился к белокурой девушке-секретарю:

— Сестрица, будь ласкова, уважь мою просьбу.

— Какую?

— В Череповце проживает Ольга Тимофеевна Кравцова. Мне дозарезу надо с ней поговорить. Не откажи!.. Это моя двоюродная сестра...

Девушка понимающе заулыбалась:

— А может, внучатая племянница?

Улыбнулся и Николай:

— Ты права... Понимаешь, вот уже почти год от нее никаких вестей. Помогите установить связь — век буду благодарить!

— Раз такое дело — попытаюсь. Давайте адрес.

Возвратившись в палату, утомленный Николай уснул так крепко, что даже проспал обед. Проснулся уже под вечер с чувством облегчения и ожидания чего-то радостного, светлого, но не сразу осознал, чего же именно. Наконец, вспомнил: возможен телефонный разговор с Олей!..

Но предвкушение светлой радости убила отрезвляющая мысль о предосторожности: «А не погубишь ли ты сам себя этим разговором?..»

Ночь прошла в противоречивых раздумьях: подходить к телефону или не подходить? Решения никакого не принял, и потому, когда утром, во время завтрака, в палату вбежала девушка из канцелярии и выпалила: «Косаренко, к телефону!», он несколько секунд оторопело глядел на нее, не зная, как быть.

— Что же ты? — поторопила она его. — Быстрее же!

Николай рванулся с места. С трудом переставляя ноги, он заспешил в коридор. Перед тем как войти в комнату с телефоном, в нерешительности остановился, а потом досадливо махнул рукой — будь что будет, — открыл дверь. Взяв трубку, Николай сразу же услышал хорошо знакомый женский голос: «Алло, я слушаю, кто меня вызвал?.. Алло!..»

Николаю страстно хотелось сказать жене о многом, а еще больше узнать о ее теперешнем житье-бытье, но он, будто потерявший дар речи, молчал, вслушиваясь в тревожные интонации голоса родного человека, и молчал. Потом, осторожно положив трубку, мысленно обратился к жене: «Прости, Оля, и за это своего непутевого муженька...»

Армейская штрафная рота, в которой Николаю Кравцову предстояло искупить вину, действовала в Карелии. Он прибыл в нее старшим по команде в начале мая сорок третьего года, под вечер, когда северное солнце уже спускалось к зубчатой линии пихтового леса, занятого противником.

Пополнение принимал командир роты Горначев, капитан в щегольской кубанке и бекеше, опушенной серым каракулем, накинутой на плечи небрежно, но расчетливо — так, чтобы были видны все три боевых ордена и медали «За отвагу». Приняв рапорт Николая, Горначев неторопливо, властно прошелся вдоль строя новичков. Остановился возле серой громады валуна, обросшего зеленым мхом, и заговорил неожиданно низким басом:

— Вот что, христосики... Я не намерен ворошить ваше грязное белье для выяснений, за что каждый из вас попал под трибунал. Для меня важно не это. Как будете драться — вот что главное. Признаюсь: люблю смелых и отважных, а с трусами и паникерами у нас тут разговоры очень даже простые и короткие — расстрел на месте! Вопросы по этому поводу будут?

— Все и так ясно-понятно! — за всех ответил Коровин, конопатый боец лет тридцати в кургузой шинелишке и небрежно заломленной пилотке.

— Превосходно! — одобрительно заключил Горначев, похлопывая прутиком по начищенному до зеркального блеска хромовому голенищу. — Разъясню и другое, тоже весьма существенное... По приговору каждый из вас должен кровью искупить свою вину — ранение автоматически снимает судимость. Кого же пуля или осколок, не дай бог, срзлит наповал — война есть война, тут уж, братцы мои, ничего не попишешь, — погибший, одним словом, будет похоронен с доступными нам воинскими почестями. В этом случае родным сообщается, как и про всякого бойца, геройски сложившего голову в боях за Родину. Вот и вся для вас политграмота... А сейчас отправитесь на склад за продуктами. Старшим по-прежнему будет, — капитан взглянул на Николая, — как тебя?..

— Рядовой Косаренко, товарищ капитан!

— Подойди-ка сюда, Косаренко.

Командир роты почему-то долго всматривался в лицо Николая, словно бы что-то вспоминая.

— Мы с тобой нигде не встречались?

— Нет, товарищ капитан...

— Странно. А лицо твое мне кажется хорошо знакомым... В топографии смекаешь?

— Немножко.

Развернув карту, командир роты ткнул в нее пальцем:

— Что изображено?

— Кустарники.

— Правильно. А это?

— Непроходимые болота.

— Тоже верно.

Капитан задал еще несколько вопросов и не без удивления заметил:

— Да ты, тово, не разжалованный ли офицер?

— Что вы, товарищ капитан, — поспешил разуверить Николай. — Я вообще не шибко грамотный.

— Но где же ты научился топографической премудрости?

— На действительной, товарищ капитан. Служил при штабе полка, там и поднатерел.

Это, видно, не очень убедило капитана.

— Ну, тебе лучше знать, где и как приобрел командирские знания, — сухо заметил он. — А сейчас перед тобой задача такая... Поведешь людей вдоль этого кривого озера до охотничьей избушки. Возле нее свернешь влево и по настилу через болото выйдешь на позиции дивизионных артиллеристов. Ну а от них до склада рукой подать. Он расположен вот здесь, на опушке. Вопросы есть?.. Тогда действуй!

Вытянувшись цепочкой, восемнадцать штрафников шагали вразнобой. Под ногами — мягкий настил мха, скрадывающий звуки шагов, над головой — небо с кучевыми облаками, а вокруг — лесистые сопки и распадки, озера и болота, соединенные между собой протоками. В укромных, малодоступных для солнца местах еще серел снег. Глядя на него, Николай с тоской подумал: «А у нас в Репьевке теперь уже вишни и яблони в цвету...»

Подшли к болоту. По его зыбкой, мшистой и кочковатой поверхности был проложен пешеходный настил в три бревна. Под ногами бойцов он оживал, вдавливаясь в чавкающую жижу. Противник, наверное, знал про эту деревянную тропку и держал ее под обстрелом: по обочинам — бесчисленные оспины разрывов, заполненные ржавой водой. В нескольких метрах прямым попаданием поврежденное бревно настила.

Разглядывая следы обстрелов, Николай невольно и не без опаски оглянулся — не просматривается ли болото наблюдателями противника?

Солнце уже давно скрылось, а привычной темноты не было.

— Чудно, ей пра, чудно! — удивлялся конопатый Коровин, шагавший позади Николая. — Ночь, а вон как хорошо видно. Даже читать можно. Ясно-понятно сказка, да и только. Не воевать — пожить бы в этих райских местах. Поохотиться, рыбу половить... Тут ведь и зверь непуганный, и птица...

— Куда там — непуганный, — насмешливо возразил боец со шрамом на подбородке. — Да он теперь, зверь-то этот самый, за сотни верст скаканул отсюда... Я воевал под Харьковом и знаю... Не то что звери — собаки и те такого дали стрекача — не скоро их теперь заманишь в родную сторонущку...

«Как и меня», — с горькой усмешкой подумал Николай, ни на минуту не забывавший о своем новом положении.

А Коровин начал оправдываться:

— Так вить я что, ясно-понятное дело, я про мирное время калякаю. Теперь же тут, конечно, никому житья нет — ни зверю, ни человеку... А кончится война, да жив останусь — уж непременно прилечу сюда!.. А ты как, Косаренко?

— А никак, — неопределенно ответил Николай.

Конечно, если говорить начистоту, он тоже не прочь пожить в этом глухом, но благодатном краю, тем более что в родном ему вовсе нельзя появляться, но стоит ли сейчас мечтать о времени, отдаленном непроницаемой завесой войны? Имеет ли смысл строить какие бы то ни было планы, если тебя ждут роковые события?

— Что, не по душе здешняя природа?

— Почему же? Я думаю о другом — воевать тут трудно...

— Воевать везде нелегко и несладко, — вздохнул боец. — Скажешь, не так?

Николай промолчал, занятый своими думами.

Он добился того, чего так страстно хотел, — попал на фронт, но удовлетворения пока не испытывал. Мешало чувство душевной раздвоенности, как у малоопытного актера на сцене. Перевоплотившись в другого человека, Николай должен был начисто забыть самого себя, а это, оказывается, невозможно. Потому-то в нем жили теперь двое: сам он, Николай Кравцов, и его односельчанин, — това-

рищ Иван Косаренко. Оба враждовали между собой, ни в малом, ни в большом не уступая друг другу. Особенно непримиримым был Кравцов. Именно он, Кравцов, дал повод капитану думать, что перед ним не рядовой боец, а офицер...

Размышления Николая прервал стремительно нарастающий вой тяжелого снаряда.

— Ложись! — крикнул он, падая на бревна настила. Ошметки торфянистой земли, поднятой взрывом, еще шлепались по болоту, а далеко позади, где-то за нашей передовой, уже снова бухнула пушка, и через несколько секунд новый снаряд с небольшим перелетом упал почти рядом с настилом. Потом еще и еще...

Николаю, распластавшемуся на бревнах, вдруг стало знобко. Новизна ощущений удивила его и насторожила: «Что это со мной? Неужели я трус, неспособный владеть собой?..» И, как бы разуверив в этом самого себя, вскочил первым, когда кончился огневой налет. Вскочил и оглядел товарищей, прижавшихся к настилу. Все были бледны, взволнованы...

— Никого не задело? — спросил он. — Тогда пошли!

14

Поход за продуктами занял почти всю ночь — в расположение роты возвратились с восходом солнца. До кухни, размещенной в искалеченном снарядами сосняке, оставалось пройти каких-нибудь полкилометра, когда на передовой разорвалась мина. Вслед за нею — вторая, третья...

Все остановились, с тревогой прислушиваясь. Разрывы учащались, расширялась и площадь обстрела. Несколько мин и снарядов пролетели над головами солдат и разорвались где-то на болоте, по которому они только что прошли.

«Что это — обычный огневой налет или артподготовка? — думал Николай. — И что мне, как старшему команды, нужно предпринять?..»

Вой и грохот усиливались. Близкий разрыв мины словно бы подсказал нужное решение. Сбрасывая с себя мешок с крупой, Николай хрипло скомандовал:

— Продукты сложить и бегом на передовую!

— Но у нас же нет оружия! — запротестовал Коровин, и показалось, что на его бледном лице конопушки будто потемнели. — А с голыми-то руками нужны ли мы там?

— Не рассуждать! — по-командирски строго осадил его Николай. — За мной!

И с удивительной для самого себя легкостью побежал навстречу грохоту боя, уже не думая об опасности и — странное дело! — не ощущая противного нервного озноба. Он не оглядывался, но знал: следом за ним, тяжело дыша, бежали его товарищи, с этой минуты ставшие боевыми. Ему было приятно и радостно сознавать, что они без пояснений поняли мотивы его решения и подчинились его воле.

Миновали ротную кухню, низиной побежали к болотцу перед высоткой, по которой проходила оборона роты, и затопали по настилу. Мины рвались теперь то спереди, то сзади, то с боков. Всякий раз Николай вздрагивал и пригибался, не замедляя бега. «Вперед, только вперед!» — мысленно приказывал он самому себе.

Почти у самого выхода из болотца его вдруг обдало горячей волной. Он взмахнул руками, словно бы ища опоры, потерял равновесие и упал в трясину. Хотел было сразу же вскочить, но трясина продавилась и начала его засасывать. Николай кое-как дотянулся до настила, выбрался на него и опять побежал.

Перед входом в траншею, поджидая товарищей, немного отдышался.

По траншее, опираясь на винтовку, ковтылял раненый боец. Бледное, давно небритое лицо его было покрыто каплями пота и страдальчески перекошено.

— А ну-ка, друг, отдай-ка мне свою винтовку, — попросил Николай.

— Это по какому праву? — подозрительно покосился на него раненый.

— По такому, что идет бой, а у меня нет оружия! Я из пополнения.

— Дурака поищи в другом месте, а я на медпункт должен заявиться с винтовкой. Иль приказа не знаешь?

— В армии выполняют последнее распоряжение!

В голосе Николая была такая уверенность в своей правоте, что боец пошел на попятную:

— Ну, если распоряжение, тогда что ж, тогда я — пожалуйста... Бери, а докторам я объясню, что и как...

Николай проворно зарядил обоймой винтовку, сунул в карман шинели две пачки патронов и перед тем, как скрыться в траншее, ведущей на передовую, махнул догонявшим его товарищам, чтобы они не отставали.

В том месте, где ход сообщения соединялся с траншеей переднего края, Николай остановился, пропуская вперед товарищей, — одних направо, других налево.

— Вооружайтесь за счет раненых и убитых и действуйте по обстановке! —ставлял он их властно и непререкаемо.

Когда последний боец — им оказался Коровин — скрылся за изгибом траншеи, Николай побежал следом за ним и, пригнувшись, вошел в первый же дзот. В тесном блиндаже удушливо-дымно: ручной пулемет стрелял длинными очередями, а легкий утренний ветерок дул прямо в амбразуру.

— Эй, друг, чем тебе помочь? — обратился Николай, улучив удобный момент.

— Диски! — прокричал пулеметчик, не оборачиваясь. — Заряжай диски!

Николай довольно ловко и быстро набил патронами два диска и, положив их на площадку возле треноги пулемета, заглянул в амбразуру.

Перед дзотом простиралась не очень широкая, метров в четыреста, впадина с удручающе жалкими остатками леса, искромсанного снарядами и минами. По ту сторону впадины — полукруг возвышения, тоже с искалеченными соснами и елями. По всему возвышению, то там, то здесь, рвались снаряды и мины, и Николай догадался: передовая финнов, по которой бьет наша артиллерия. На всем видимом пространстве — ни живой души, а между тем пулеметчик, вставив диск, зарядил его чуть ли не за единый выдох.

— Ты по какой цели-то бьешь?

Пулеметчик — им оказался чернобровый парень лет двадцати пяти — окинул Николая раздраженным взглядом:

— Твое дело заряжать диски и не задавать глупые вопросы!

— Глупый тот, кто бесполезно расходует боеприпасы! — огрызнулся Николай.

Пулеметчик, не ожидавший отпора, пошел на попятную:

— Тоже мне — рачительный хозяин... Да если бы на войне каждая пуля находила себе цель — всех гитлеров и прочих геббельсов уже давно бы не было на свете!

Бой постепенно затихал: реже рвались снаряды и мины, вялой становилась ружейно-пулеметная перестрелка.

— Ты откуда взялся-то? — спросил пулеметчик, рукавом шинели устало вытирая высокий лоб. — С пополнением прибыл? Но, гляжу, стреляный воробей. Много воевал?

— Пока еще не довелось.

— А я, елки-палки, уже второй месяц в этом пекле варюсь...

— Почему один у пулемета?

— Моего второго номера, Костю Осташкова, — вздохнул пулеметчик, — три дня назад кокнуло — и «мама» выговорить не успел. К родничку за водой пошел и не вернулся — мина накрыла... Тебе за какие же темные делишки штрафную-то пришпандорили?

— А тебе?

— Из госпитальной аптечки неудачно слямзил во такой вот ящичек сульфиди-

на. Вернее, слямзил-то я его шито-крыто, да потом, когда сбывал этот бесценный товарец, попался на крючок... Чуть не шлепнули... Теперь-то я, понятно, жалею, и очень...

По траншее пронесли раненого.

— Еще один перестал быть штрафником, — сказал он задумчиво, скручивая сигарку. — Огонек есть? Давай подышим.

— С удовольствием бы, да только мне некогда.

— Куда спешишь-то?

— К командиру роты, за назначением.

— Просись вторым номером к Кузнецову, ко мне, значит. Мы с тобой дадим финнам жару!..

— Вообще-то, я не против, только, честно говоря, мне и самому хочется быть первым номером.

— Жаль.

За изгибом траншеи, ведущей в тыл роты, Николай нагнал Коровина. Вместе с бойцом со шрамом на подбородке тот нес на носилках раненого солдата.

— Кого это вы? — спросил Николай, из-за спины товарища пытаюсь разглядеть пострадавшего.

— Да Пилипчука же! — сердито ответил Коровин, не оборачиваясь. — Остановись, Якушкин, малость передохнем.

Он осторожно опустил носилки на усталые еловыми ветками мочажинистое дно траншеи и, устало разгибаясь, пояснил:

— Бедняга был рядом с Коломыйцевым. В того прямое попадание снаряда, а этого осколком в грудь. Тоже, считай, не жилец... Так-то вот, Косаренко! — заключил Коровин с явным упреком.

Николай с состраданием смотрел на угасающего товарища, на губах которого пенилась, стекая, розовая сукровица, и думал: «Он был бы жив, если бы я его не увлек. И главное — без пользы погиб человек...»

Потом, уже держась за рукоятки носилок, оправдывал себя: после свершившегося факта всегда легко найти виновника. Особенно тут, на войне. А что касается пользы... Кто же заранее мог знать, чем обернутся дела? А если бы пошел в атаку?..

Когда команда пополнения, уменьшившаяся на двоих, собралась, Николай привел ее на командный пункт роты. Он хотел было по-уставному доложить вышедшему из землянки командиру роты, но капитан перебил его:

— Знаю, товарищ Косаренко, все знаю! За находчивость и умелые действия объявляю благодарность! И назначаю командиром отделения. — Он помолчал. — Надеюсь, товарищ Косаренко, ты и впредь станешь действовать так же инициативно и смело!

— Буду стараться, товарищ капитан!

Командир роты распустил строй и, улыбаясь, сказал такое, отчего у Николая все похолодело:

— А ведь я вспомнил, откуда мне твое лицо знакомо!.. Приглядишься к моей физиономии, может, и она тебе что-нибудь напомнит?.. Не узнаешь? Склеротик несчастный, да мы же с тобой однокашники по Рязанскому пехотному. Только в разных ротах постигали премудрости военного искусства...

— Что вы, товарищ капитан! — запротестовал Николай, не отворачиваясь от улыбающегося взгляда капитана. — Вы меня с кем-то путаете...

— Может быть, может быть... Значит, на этот раз меня зрительная память подвела. Она у меня, не хвалясь, скажу, особенная: два часа покручусь с человеком, и уж потом долго его не забуду... А вот с фамилиями, наоборот, они у меня быстро улетучиваются... Что ж, иди, принимай свое отделение...

Штрафная рота занимала оборону на стыке двух стрелковых дивизий, примыкая своим правым флангом к сопке, а левым — к обширному труднодоступному болоту. Фронт в этих краях был давно и прочно устоявшимся, обе стороны возвели долговременные оборонительные сооружения: дзоты и блиндажи с многоскатными перекрытиями, соединенные между собой глубокими траншеями, а на «ничейной» земле, разделяющей воюющие стороны, создали хитроумные минные заграждения. Все видимое с обеих сторон — каждый валун, каждое дерево и каждая тропка, — все давным-давно было пристреляно и постоянно держалось на прицеле. А это значило: чуть высунулся из укрытия, попал в поле зрения вражеских наблюдателей, словом, допустил ненароком хоть самую малую оплошность — расплачивайся кровью, а то и самой жизнью...

В этот суровый фронтовой быт, требующий напряжения всех сил, и физических и духовных, Николай довольно быстро влился и не очень тяготился его лишениями и неудобствами. Сложны и трудны были его отношения с новыми товарищами. И не только потому, что этих товарищей никак нельзя было назвать ангелами, к которым бы тянулась душа, — оберегая свою страшную тайну, Николай, общительный по натуре, принуждал себя быть замкнутым, нелюдимым. Поэтому среди окружавших его людей он был и чувствовал себя отшельником, а это было для него самой ужасной моральной пыткой.

— У тебя, Косаренко, наверное, телок язык отжевал, — заметил как-то Коровин. — Все молчишь и молчишь... Зачем тебе, спрашивается, амбарный замок на душе?..

— А почему я ее должен держать нараспашку?

— Так, дорогуша же ты мой, неужели это надо доказывать? Птахи небесные, и те на разные голоса заливаются, радость друг другу доставляют. Мы же, как-никак, люди, хоть проштрафившиеся. А на поверку что выходит? Явная несуразица... Второй, считай, месяц одно и то же мыкаем, а я вот даже не знаю, к примеру, женат ли ты и есть ли у тебя детишки?

— Тебе-то что до этого? — не очень вежливо заметил Николай. — Чем в чужую душу лезть, лучше бы винтовку как следует почистил.

— Опять затянул нудную песню, — обиделся Коровин. — За мое оружие будь спок, оно у меня в полном ажуре!

— Ажур... А вот эта грязь, а это ржавое пятно?.. Через два часа проверю!.. А теперь показывай, какой твой сектор обстрела?

— Мама родная, да сколько же ты будешь спрашивать про него, про этот несчастный сектор?

— Сколько надо, столько и буду! Показывай!

Коровин нехотя подошел к амбразуре.

— Значит, так... Справа во-он тот валун, какой возле кустов, а слева расщепленная береза. Врагов должен бить как на озерке, так и на берегу. Еще имеются вопросы?

— Что нового заметил у противника?

— Все по-старому... Днем финны и носа не высовывают.

— А ночью?

Оказалось, что ночью, уже перед утром, Коровин видел, как два вражеских солдата спустились умываться.

— Стрелял по ним?

— Зачем? С такого-то расстояния только в белый свет и попадешь... Тут, поди, метров пятьсот, не меньше...

— Эх ты, вояка! — укорил Николай товарища, подумав про себя: «Я, навер-

ное, и впрямь стал заплесневелым сухарем. Человек ко мне сердцем тянется, а я его всеми силами отпихиваю от себя...»

И словно бы заглаживая свою вину, примирительно спросил:

— Махорка есть?

Коровин полез в карман брюк и достал бархатный кисет, на котором шелковыми нитками было искусно вышито: «Кого люблю, тому дарю. Навсегда твоя, Вера».

— Девушка? — поинтересовался Николай.

Коровин заулыбался, тепло и горделиво.

— Когда вышивала эти бесценные слова для меня — да, а теперь, как говорит-ся, самая что ни на есть законная жена. Хочешь взглянуть? — спросил он и, не дождавшись согласия, торопливо, будто опасался, что ему помешают это сделать, полез в нагрудный карман гимнастерки.

С потертой фотокарточки смотрела молодая белокурая женщина в светлой кофте с узкими рукавами до запястья и в широкой деревенской юбке. Курносый нос, тонкие раскрылки бровей, щечки с ямочками, пухловатые губки и большие глаза с выражением не то застенчивости, не то виноватости, — все части лица соотносились между собой с такой удивительной пропорциональностью и так дополняли друг друга, как будто искуснейший ваятель в них воплотил свою мечту о женской красоте.

Женщина сидела на стуле и держала годовалого мальчика, черного, как цыганенок, а по бокам у нее стояли две девочки-дошкольницы, похожие на мать.

— Как видишь, Ваня, у меня солидное семейство, — пояснил Коровин все с той же теплой, горделивой улыбкой. — Это не считая нашего первенца — его задавила проклятая скарлатина...

— Постой-ка, ты ведь молодой — когда же успел-то?

— Вишь, Ваня, какое дело, любовь — шутка нехитрая, особого мастерства не требует... Мы с Верочкой поженились, можно сказать, сосунками — целых восемь месяцев без регистрации жили. У нас уже появился вихрастый мальчонка, а закон не признавал нас за мужа и жену, потому как нам по восемнадцати не было...

— Не жалеешь, что рано женился?

— Что ты? — запротестовал Коровин, как будто Николай покушался на его счастье.

Рассеянно слушая товарища, Николай думал о своей семье, из-за его осуждения оказавшейся в тяжелейшем положении. Как всегда в последнее время, едва ли не все думы его вертелись вокруг одного: писать Ольге, где он, или не писать? Если да, то как дать ей понять, не вызвав подозрения у посторонних, что он совершил побег из мест заключения и штрафником под чужой фамилией попал на фронт?

Разве что установить связь с кем-нибудь из братьев? Это было бы прекрасно, да беда-то в том, что связь с фронтовиками Константином и Василием у Николая оборвалась еще задолго до ареста, а адрес самого младшего, Павла, служившего в какой-то танковой части, он точно не помнил.

И все-таки надо написать Павлу!

Через час Николай уже свертывал письмо в солдатский треугольник. Написал его так, чтобы работники военной цензуры ничего не поняли, а братишка, наоборот, чтоб мог догадаться о главном — о том, что в силу крайне неблагоприятного стечения обстоятельств он, Николай, вынужден был изменить свою фамилию и теперь воюет под чужим именем и что если случится самое худшее, то есть, если родители Ивана Дмитриевича Косаренко получают еще и похоронную, то Павел должен иметь в виду, что за этим кроется...

С вечера погромыхивала артиллерия и азартно выстукивали пулеметы, ночью слышались только одиночные выстрелы винтовок, а перед утром звуки боя совсем заглохли и стало непривычно тихо и безмятежно.

Безмолвие убаюкивает, хочется положить щеку прямо на кулак и прямо вот так, стоя, заснуть сладким зоревым сном. Хотя бы ненадолго, хотя бы на пяток минут отдаться во власть сонного блаженства. Чтобы не поддаваться соблазну, Николай до боли прикусил нижнюю губу и пристально следил за противоположным берегом озера. Возле него, переминаясь с ноги на ногу, с дремотой боролся и Коровин.

Постепенно бледные остатки предрассветных сумерек расползлись по лесным чащобам, по укромным закоулкам дзотов и блиндажей — из-за дальней сопки за спиной вот-вот покажется малиновый срез солнца. Тишина, неподвижность: ни одна ветка не вздрогнет, ни один лист не шелохнется. Только на ртутной глади озера то там, то здесь появляются бесшумные круги — рыба «плавится».

Николай зевнул, потянулся до хруста и не заметил, как отяжелевшие веки сомкнулись сами собой.

Коровин легонько толкнул его в бок:

— Гляди-ка!

Вздрыгнувший Николай мотнул головой, отгоняя дремотную одурь. На той стороне озера, неподалеку от кривой сосны, чуть приметно пошевелился куст. Потом, после небольшой паузы, опять, но уже сильнее, и возле куста, над бруствером, показалась голова финна.

— Стреляй! — спокойно засуетился Коровин, жарко дыша в самое ухо напрыгшегося Николая.

— Подожди, пускай побольше высунется.

Солдат, однако, не высовывался, зато на некотором удалении от него из траншеи вылез другой солдат с полотенцем через плечо и начал медленно спускаться к воде.

— Как на прогулке, гад! — выругался Коровин. — Стреляй же!

— Не мешай!

Подойдя к воде, финн широким взмахом кинул полотенце на ветку сваленного дерева, разделся до пояса и, присев на корточки, начал плескаться.

Николай перестал дышать и, как на учебных стрельбах, плавно нажал на пусковой крючок. Выстрел прозвучал со звонким раскатистым эхом.

— Попал! — торжественно крикнул Коровин. — Мама моя родная, попал!.. Его вроде сзади подтолкнули — лицом плюхнулся в воду. Это же надо... Ну и молодец же ты, Ваня!

А Николай не обрадовался и не огорчился: по телу его прошла нервная дрожь, и он, словно бы оправдываясь перед самим собой, успокаивающе подумал: «Тут ведь так, не я его, так он меня...»

Подавив в себе мимолетное, совершенно ненужное и в данном случае даже вредное чувство жалости, он быстро перезарядил винтовку и вновь приготовился к стрельбе.

— Думаешь, и второй появится?

— Должен! Как же иначе-то?

И действительно, вскоре из траншеи выбрался второй финн и, полусогнувшись, заторопился на выручку товарищу. Как только он наклонился над ним, Николай в то же мгновение выстрелил. Солдат выпрямился, немного постоял, словно раздумывая, что делать, и, взмахнув руками, упал.

— И этот готов! — ликовал возбужденный Коровин. — Вот это да, вот это я понимаю — стрелок!

— Не высовывайся! — дернул за плечо его Николай. — Думаешь, у них нет снайперов?

Он снял с головы Коровина каску и дулом винтовки приподнял ее над бруствером. Не прошло и минуты, как по каске, сделав в ней вмятину, цокнула пуля и, срикошетив, впилась в бревно облицовки траншеи.

Побледневший Коровин ошалело потрогал вмятину и криво улыбнулся:

— Ну и ну...

— То-то же, — в тон ему поддакнул Николай и на ложе винтовки сделал две памятные отметины...

17

Будни позиционной войны — изо дня в день одно и то же: артиллерийские и ружейно-пулеметные перестрелки, гибель и ранение товарищей, ни на минуту не утихающая тоска по дому, по родным и близким, дележка махорки и уход за оружием, ожидание писем и обсуждение новостей, соленые анекдоты и мечты, для многих несбыточные! — о жизни после победы...

А над всеми этими мыслями и чувствами человека на войне, над всеми его большими и малыми фронтовыми радостями и горестями — гнетущая неизвестность: что-то ожидает тебя через час или через сутки? Не последний ли раз ощущаешь тепло солнца или наслаждаешься солдатским сухарем?..

Однажды ранним утром командир взвода приказал Николаю сдать свой участок обороны соседнему отделению, а людей немедленно перевести на левый фланг роты. В овальной ложбине непосредственно позади переднего края уже была собрана большая часть роты — человек около девяноста, когда туда прибыл Николай со своими товарищами. Выстроив всех полукругом, командир роты иронически прищурил глаза с желтоватыми прожилками и по-свойски спросил:

— Ну, христосики, надоело отсиживаться в дзотах и блиндажах? Что ж, пойду навстречу вашим пожеланиям — пуцну вас на веселенькую прогулочку. — Он стер с лица выражение иронии. — Задача такова: после молниеносного артналета ворваться в траншеи противника, захватить пленных, документы и откатиться. Сигнал атаки — зеленая ракета, сигнал отхода — красная. — И опять перешел на первоначальный тон: — Довольны? Рады?

— Лично я всю жизнь мечтал о такой неслыханной радости! — за всех ответил Коровин под невеселый смехок товарищей.

Капитан тоже мимолетно улыбнулся и посмотрел на наручные часы.

— Выступаем через тридцать семь минут. У старшины пополните боеприпасы и получите по двойной наркомовской. Поторопитесь, у нас времени в обрез!

Николай отвел свое отделение к одинокой сосенке и с каким-то особым чувством оглядел каждого из девяти солдат. Все присмирели, посерьезнели, у всех думы были — и не могли не быть! — об одном и том же — о предстоящей разведке боем в условиях долговременной обороны.

— Товарищи! — заговорил Николай, тщето стараясь сохранить в голосе обычную, будничную тональность. — Не будем обманывать самих себя — не все вернемся оттуда... Но многое будет зависеть от нас самих. Мы должны действовать смело и решительно! Чтoб финны и опомниться не смогли, а мы уже у них в траншее... А второй приказ мой такой: раненых и убитых не оставлять! Ни под каким предлогом!.. Рядовой Коровин!

— Я!

— В случае чего... В общем, будешь моим заместителем...

Перед тем как распустить строй, Николай еще и еще раз оглядел товарищей. В эти последние минуты перед боем, которые могут оказаться в чьей-то жизни и

последними, ему хотелось сказать нечто важное, значительное. И не только по долгу командира, но и из простой человеческой потребности в душевном общении, по которому он порядком истосковался. Но времени было мало, и он ограничился фразой, которая выражала сокровенную, но едва ли осуществимую мечту каждого:

— Желаю, дорогие товарищи, одного — встретиться после вылазки!..

А вокруг — разгар предбоевой суеты: одни бойцы по-хозяйски заботливо запасались гранатами и патронами: другие делили водку, с побрякиванием «переливая ее в свою посуду» и закусывая «вторым фронтом» — американской консервированной колбасой, третьи уже выпили и, наскоро закусив, возились у пулеметов и противотанковых ружей. И там и сям натянутые шуточки, незлобная перебранка по пустякам — в эти предбоевые минуты нервы у всех взвинчены до предела. Недаром говорят: страшна не сама смерть — страшно ее ожидание...

В дележе водки Николай участия не принимал — свою порцию предложил разделить на всех.

— За этот бесценный подарок, ясно-понятно, великое спасибо тебе, товарищ командир, — поблагодарил его Коровин, который с общего согласия взял на себя обязанности виночерпия. — Но скажи, пожалуйста, почему ты отворачиваешь нос от того, что храбрит сердце солдата?

— Потому что храбрит оно по-дурному...

— А я, между прочим, за это самое и обожаю ее, стервозу. Тяпнешь стакашек — и тогда тебе сам черт не брат!.. Так что давай наперед уговоримся: ты будешь отдавать мне свою порцию, а я тебе за это, что ни попросишь — не пожалею! Вот ей-ей! Лады?

— Считаю, что высокие договаривающиеся стороны пришли к соглашению, — рассеянно сказал Николай, занятый своими мыслями. — А на сегодня просьба моя к тебе такая: не отставай от меня и не отбивайся.

— Дык об чем разговор! — заверил Коровин и выпил водку маленькими глотками, словно бы смакуя.

...До угловатой вилюжины финской траншеи с проволочным заграждением в три хода было метров четыреста сравнительно ровной, с легким подъемом, «ничейной» земли, обезображенной снарядами и минами. Перед колючей проволочной минное поле, в котором саперы с величайшими предосторожностями и потому незаметно для противника проделали два прохода, обозначив их веточками сосны.

«Четыреста метров туда и четыреста оттуда под огнем!» — с содроганием подумал Николай, но когда шквал артналета на финский передний край начал стихать, а в небо взмыла зеленая ракета, он пружинисто выпрыгнул из траншеи и осипшим голосом подал команду: «Второе отделение, за мно-ой!» И уже будто не было ни раздрающих душу тревог, ни изводящего страха перед неизвестностью — все это как-то сразу и неожиданно отошло на второй план, уступив место тому главному, что требовал от него бескомпромиссный солдатский долг...

Бежал Николай легко, не оглядываясь и почти не рассматривая испятнанную воронками землю, — ноги будто сами знали, где им лучше ступить.

Первые пули просвистели над головой в тот момент, когда он был на проходе через наше минное поле. Сзади кто-то ойкнул. «Началось!» — подумал как о неизбежном, подавляя желание обернуться. Но он все же обернулся, когда полоснула вторая очередь. Товарищи бежали в десяти шагах от него, но не все — одного не было. Кого именно, не понял.

— Не залегать! — скомандовал он, а сам упал, сбитый горячей волной близко-го разрыва.

Оглушенный и ошалелый, Николай несколько мгновений лежал неподвижно,

потом, будто подхлестнутый, вскочил и, стреляя, опять ринулся вперед, к желтеющему глиной брустверу вражеской обороны. Свист, вой и грохот усиливались, вздрагивала земля, терзаемая взрывами, падали сраженные наповал и раненые, а Николай словно бы ничего этого не видел и не замечал, ничего не слышал и ни о чем другом не думал, кроме одного: вперед, вперед и вперед!

Когда оказался возле вешек, обозначавших проход в финском минном поле, огонь из стрелкового оружия приутих, а снаряды и мины кромсали все живое теперь уже сравнительно далеко позади. Кто-то, кажется, Коровин, радостно закричал:

— Финны драпают! Ур-ра-а!

Выдернув предохранительную чеку гранаты, Николай широким взмахом метнул ее за бруствер и, когда она взорвалась, сам спрыгнул в траншею. Переведя дыхание, на несколько секунд прислонился к бревенчатой обшивке. За каждым изгибом траншеи, ожидая столкновений с финнами и не встречая их, Николай даже раздосадованно пожалел, что те отошли, уклонившись от рукопашной, эдак и «языка» не захватить.

В узком ответвлении, ведущем в дот, он все же увидел финна: стоя к нему спиной, тот колотил кого-то из наших. Николай кинулся на выручку товарищу и с яростью обрушил на затылок врага удар прикладом...

— Ваня, друг мой расхороший, да откуда ж тебя Бог послал? — произнес Коровин, ошалевший от испуга и радости. Он криво улыбался, сплевывая кровь. — Один-то я разве ж одолел бы такого борова?

Николай опять побежал, ища встречи с врагом и осматривая пустующие блиндажи и дзоты.

Наверху, где-то совсем рядом, разорвался снаряд, за ним другой, третий... Николай догадался: противник бьет по своим покинутым траншеям. Стало ясно, что возвращение будет не менее опасным, чем рывок сюда...

Красная ракета над расположением наших взвилась раньше, чем ожидал Николай. Он подал команду на отход, выбросил на бруствер немецкий автомат и ящик патронов к нему и сам выпрыгнул наверх. Но трофеи пришлось бросить, едва миновали проход в минном поле: позади раздался взрыв, и кто-то приглушенно вскрикнул. Николай оглянулся. Возле неглубокой воронки лежал пулеметчик Кузнецов с оторванной ступней и беспомощно пытался встать. Николай не столько сквозь грохот боя услышал, сколько сердцем почувствовал, о чем умоляюще просил его раненый... Подскочив к пулеметчику, он подхватил его под мышки и сгоряча поволок, но тут же спохватился: а вдруг раненый истечет кровью?..

Трясущимися руками Николай разорвал перевязочный пакет и, стараясь не глядеть на сахарно-белые острые раздробленные кости, туго перетянул изуродованную ногу выше колена. Вторым пакетом, взятым у самого раненого, наспех обмотал кровоточащую культю. Перед тем как осторожно взвалить Кузнецова себе на спину, ободряюще попросил:

— Ну, друг, наберись терпения.

Хрипя от натуги, он увалистым шагом понес стонущего пулеметчика сквозь взрывы и огонь.

— Терпи, солдат, терпи, — подбадривал Николай не столько раненого, сколько самого себя: — Теперь уже недалеко...

Где-то поблизости взметнул землю снаряд, и Кузнецов вдруг обмяк, притих, и сам Николай, вдохнувший порохового газа, надсадно закашлялся. Надо бы остановиться и прилечь, чтобы хоть малость передохнуть, но он боялся, что тогда и с места не стронется, Кузнецов же, как на грех, с каждым шагом тяжелеет.

Николай был почти у самого бруствера своей траншеи, когда под ногами захлопали разрывные пули. Он упал, выронив Кузнецова, и скатился в траншею. Дож-

давшись, когда пулемет смолкнет, он схватил товарища и осторожно опустил его в укрытие.

— Вот мы и у себя, — проговорил он, в изнеможении опускаясь на корточки.

Но Кузнецов уже не мог ни радоваться, ни огорчаться: с молодого красивого лица его уже сошло выражение предсмертных страданий — теперь оно было отчужденно-холодным и безразличным.

«Домой», в блиндажи штрафной роты, возвратилась лишь треть бойцов и младших командиров, поднимавшихся в атаку. Из отделения Николая уцелел он сам, Коровин да еще два бойца. Все были угрюмы, неразговорчивы, злы. У Коровина время от времени подергивалась левая щека.

— Чудно! И с чего бы, спрашивается, это? — с детской наивностью и кривой улыбкой удивлялся он, ощущая свое бледное, осунувшееся лицо, на котором конопушки как будто потемнели. — И не контузило вроде бы, а поди ж ты — дергает и дергает... Ах, Ваня, как хорошо, что ты вовремя подоспел!.. Для меня ты теперь родней брата родного.

Николай еще не совсем пришел в себя, вспоминая все перипетии вылазки, во время которой были добыты документы и «язык». «Язык» этот — белобрысый финн с серыми глазами — удивил тем, что был прикован цепью к пулемету. Поначалу это всех донельзя возмутило — вот, мол, до чего дошли, сволочи! — но потом выяснилось, что этот был ярый шюцкоровец, который добровольно приковал себя к пулемету и поклялся умереть, но не отступить. Отступить он и в самом деле не отступил, а вот умереть у него духу не хватило. Охотно отвечая по-русски на вопросы, которые задавал ему капитан, то и дело спрашивал: «Меня расстреляют?..»

Окровавленную гимнастерку и нательную трикотажную рубашку Николай старательно выстирал в ручейке и, встряхнув, повесил на куст рябины. А сам лег на солнце, подложив под голову руки, и долго глядел в небо, по-весеннему чистое и прозрачное. Взбудораженные чувства его постепенно утихомиривались.

Кряхтя и чертыхаясь, Коровин перочинным ножом открывал трофейную банку мясных консервов.

— Угощайся, Ваня! — предложил он, когда наконец кое-как справился с крышкой.

— Спасибо, что-то не хочется.

— И от выпивона опять откажешься?

— А разве у тебя есть?

Коровин расплылся в довольной улыбке:

— Я ж, как-никак, у противника в офицерской землянке побывал...

Он проворно достал из вещмешка пузатую бутылку рома с яркой этикеткой, взболтнул ее и признался:

— Когда отходили, все боялся, как бы ненароком не разбить... Подставляй-ка свою кружку!.. Тяпнем, Ваня, за то, чтоб счастье аж до самого конца войны от нас не отвернулось!

Ром, тягучий, как сироп, разлился по всему телу успокоительным теплом, и Николай, пожевав волокнистое мясо, опять прилег. Будто девичья рука прядку волос любимого, ветерок нежно шевелил у самых глаз былинку незнакомой травы, напоминавшую степной пырей, а чуть поодаль молодая березка в траурном безмолвии опускала к земле свои нерасчесанные пряди. Пораженный, Николай резко поднялся на локте и, будто впервые после долгого забвения, с изумлением оглядел окружающий его мир.

Только теперь, только вот в эту минуту внезапного озарения заметил он кудес-

ницу-весну. Она была повсюду: в воздухе, на воде озера, в лесу и на гнилом болоте. Все вокруг зеленело, по-северному скупое, но пестро цвело и пьяняще благоухало, все тянулось к солнцу. Даже прошлогодние воронки, в которых пламя разрыва выжгло все живое, — даже они обрастали игольчатыми ростками травы-муравы! И все, что до сих пор было с Николаем, все, что есть, и все, что его ожидает, — все это вдруг слилось в одно ощущение торжествующей неистребимости и неиссякаемости жизни.

«Да, да, — думал он, — восторженно глядя на пчелу, которая озабоченно-деловито ползала по клейким сережкам березки, — что бы там ни было, а жизнь прекрасна и вечна. А личного счастья можно достичь лишь полной отдачей всех сил ума и сердца утверждению жизни на земле в ее высоком смысле и предназначении...»

— Вань, а, Вань, слышь, что ль? — словно бы откуда-то издалека дошел до его сознания голос товарища. — Подставляй-ка, говорю, кружку — допивать будем.

— Допивать — так допивать! — с веселой готовностью согласился Николай. — А знаешь, Митя, у меня ведь сегодня день особенный...

— Думаешь, у тебя одного? — усмехнулся Коровин. — Кажется, вместе в пекле побывали...

— Я не это имею в виду... Ровно год назад, Митя, я последний раз виделся с женой и ребятишками... И солнце тогда вот так же светило, только на душе у меня было совсем другое. В тот день, Митя, я первый раз предстал перед военным трибуналом...

— Что ты говоришь? — удивился Коровин, перестав жевать. — А за что тебя судили-то?

Николай не ответил, колеблясь: стоит ли до конца раскрываться? Не лучше ли снова замкнуться и до поры до времени жить в своем обособленном мире?..

Да, да, конечно же, пока что рано раскрывать свою душу, отягощенную страшной тайной, которая не дает покоя ни днем ни ночью. Умом Николай понимал и сердцем чувствовал, что еще не настал тот желанный час, когда можно будет это сделать, не боясь возможных последствий, столь же непредсказуемых, сколько и опасных. Но теперь уже недалеко он, тот час, если до него судьба штрафника, избранная им самим, не распорядится по-своему. Тогда уж он, живущий под чужим именем, унесет с собой свою тайну, и уже никто и никогда ее не раскроет...

Нет, только не это, только не это!

К концу второго месяца пребывания на фронте Николай сделал еще две зарубки на ложе винтовки — в память об убитых врагах. Одного из них он подстрелил при довольно необычных обстоятельствах.

Однажды, обходя по заданию капитана правый фланг обороны роты, увидел девушку-солдата с кудряшками на тонкой, почти детской шее. Маленькая, щупленькая, она стояла на снарядном ящике в хорошо замаскированном окопе и наблюдала за передним краем противника. Рядом со снайперской винтовкой на бруствере лежал букет диких цветов. Девушка не слышала, как Николай подошел к ней, и он, разглядывая ее с чувством отцовской нежности и жалости, подумал: «Милая ты моя, да какие же ветры тебя-то сюда занесли? Разве ж по тебе это занятие?..»

Нет, не хотел бы Николай, чтоб через шестнадцать-семнадцать лет его Валя вот так же стояла на снарядном ящике и рядом с букетом перед ней лежала бы снайперская винтовка. Лучше самому пять раз умереть, но не допустить такое!..

Почувствовав на себе взгляд, девушка резко обернулась. Нежное, почти дет-

ское лицо, пухловатый рот и большие, сосредоточенные глаза, синие до неправдоподобности...

— Здравствуй, сестричка!

Девушка нахмурила тонкие брови и не без открытой ухмылки ответила:

— Здравствуй, брат.

Николай улыбнулся.

— Я не из нахалов, так что не бойся.

Девушка ему в ответ уязвлено:

— А откуда ты взял, что я боюсь?..

— Колючая ты.

— Такой уродилась... И вообще, проваливай-ка ты отсюда подбру-поздорову, не мешай наблюдать за противником. Я снайпер...

— Ого, как строго!.. А, между прочим, снайперскую тактику знаешь плохо.

— Это почему же? — удивилась девушка, самолюбиво прикусив нижнюю губу.

— Обзор отсюда не очень хороший. На твоём месте я бы оборудовал себе окоп вон под тем кустом.

Тонкие брови девушки изогнулись в изумлении.

— Позади своей траншеи?

— Да, именно позади. Лишние полсотни метров для снайперской винтовки не играют никакой роли, зато дадут тебе огромные преимущества.

Девушка пристально оглядела легкое возвышение, покрытое кустарником, и обрадованно воскликнула:

— А и верно, отсюда передовая врага лучше просматривается!.. Но замаскироваться там труднее.

— Зато надежнее... Ночью там и оборудуй свою огневую позицию.

Уходя, Николай пожелал на прощанье:

— Удачи тебе, синеглазая!

— Спасибо... Только подожди, тут такое дело... Нужен совет... Видишь вон ту корявую сосенку?

— Вижу.

— Левее нее желтеет бруствер и торчит пень. Так вот, чуть правее этого пня часто появляются финны. В траншее, наверное, какое-то возвышение. Может, валун... Когда они проходят по нему, то высовываются чуть ли не по пояс. Но ненадолго: не успеешь прицелиться, а он, проклятый, глядишь, уже скрылся. Зло прямо берет...

— Еще бы, — поддакнул Николай, иронически улыбаясь. — Ишь, какие неосознательные... Нет бы встать во весь рост на бруствере и попозировать, а они прячутся... Вот и войю с такими противниками!

— Не смейтесь! — девушка опять прикусила губу, покраснев до кончиков ушей.

Николай легонько отстранил ее и, не трогая винтовки, через линию прицела посмотрел на то место вражеской траншеи, где, по ее словам, появляются финны.

— Вот почему не успеваешь выстрелить? У тебя же винтовка не закреплена!

Он заострил ножом четыре колышка, вбил их попарно, крест-накрест, в землю и положил на них винтовку. Изменяя места соприкосновения колышков, устойчиво закрепил винтовку в положении, готовом к немедленной стрельбе по цели, которая появится в ожидаемом месте.

— Теперь становись и жди... Только не зевай!

— Теперь-то уж я дам им прикурить! — сказала она с той поспешной самоуверенностью, которая свойственна молодым, увлекающимся натурам. — Пускай только покажутся.

— Жалко, у меня нет времени поглядеть, но после обеда я к тебе наведаюсь, ладно?

— Приходи, убедисься...

Возвратился он скорее, чем предполагал, — не терпелось узнать, действительно ли пойдут на пользу его советы синеглазому снайперу, у которого было много желания бить врага, но не было опыта.

Девушка встретила его с виноватой улыбкой:

— Промазала... Очень уж мало времени... Вот если бы его хоть на секунду остановить!..

— Крикнула бы ему, глядишь, он бы и разинул рот, — пошутил Николай, и вдруг его осенила догадка: — А что если попытаться сдвоенным выстрелом!

— Как это?

— Представь себе, идет финн, и вдруг у самого носа его свистнет пуля. Что он сделает?

— Вздрогнет, конечно.

— Правильно. Вздрогнет и непременно остановится. В это-то время и надо бить...

— Но одному это невозможно.

— Правильно. И я предлагаю поохотиться вдвоем. Не возражаешь?

Они условились обо всем и стали ждать, стоя рядом. Светило нежаркое и невысокое заполярное солнце, текли над землей хмельные запахи лесов и лугов, разногласо щебетали и посвистывали птахи, а мысли и чувства двух людей были поглощены главным делом войны, которое в обычных, мирных условиях называется убийством.

В напряженной позе стоять тяжело, еще тяжелее неотрывно глядеть в одну точку — туда, где ненадолго должен показаться чужой солдат. Николай переминался с ноги на ногу, следя за девушкой. Она тоже время от времени встряхивала кудряшками, выбившимися из-под пилотки. И почему-то часто вздыхала. О чем она думала в эти минуты? Кого вспоминала?..

Прошел час, другой, а финн не появлялся. Николай уже подумал, что ему пора возвращаться в свое отделение, когда над бруствером вдруг показалась сперва голова солдата, а потом он и сам высунулся по поясу.

В то же мгновение раздался выстрел девушки — пуля взметнула землю бруствера чуть впереди солдата. Финн замер, и теперь выстрелил Николай. Финн схватился рукой за плечо и, покачнувшись, рухнул.

Девушка с чувством восхищения посмотрела на Николая.

— И как это ты ловко придумал! Тебя бы хорошо инструктором на снайперские курсы... Хочешь, я напишу туда?

— Нет, не хочу, — ответил Николай, разминая окаменевшие руки и ноги. — Не забывай, я ведь штрафник... Ну, будь здорова, синеглазая!

20

— Счастливчик ты, Косаренко, — сказал Коровин, когда узнал, чем закончилась очередная охота товарища. — С тебя теперь досрочно снимут судимость. Легко сказать — уже четверых врагов ухлопал!..

— Это счастье и для тебя не под запретом.

— Так-то оно так, да... А ведь ты, Ваня, плясать должен.

— Чего это ради?

— Письмо тебе. — Коровин достал из кармана гимнастерки треугольничек, основательно потертый на сгибах. — Вот оно.

У Николая кольхнулось сердце, когда он увидел почерк братишки.

В осторожных выражениях, тонкими намеками, понятными только им, братьям, Павел с недоумением и тревогой спрашивал, что произошло с Николаем, по-

чему он воюет под чужой фамилией? Главное же — он сообщил такое, от чего в глазах Николая потемнело: старший брат, Константин, пропал без вести, а средний, Василий, тяжело ранен, и нет надежд, что останется жив...

Николаю сделалось не по себе, он вышел из блиндажа и зашагал по траншее. Навстречу попались два солдата — он их не заметил, вверху завывала и разорвалась где-то поблизости мина, — он ее не услышал. Понурился, брел он, не ведая куда и зачем.

По обеим сторонам траншеи то там, то здесь, иногда очень близко, рвались мины и снаряды, едва ли не над самой головой свистели пули, а ему хоть бы что. В ложбине, перед болотом, вышел из траншеи, лег под кустом ивы на мягкий настил мха и замер. Ни мыслей в голове, ни чувств в сердце — полная отрешенность...

Тут его и нашел Коровин, когда бой утих.

— Вона, оказывается, ты где! — воскликнул он. — А я с ног сбился, пропал, думаю, человек... Так, ясно-понятное дело, и капитану доложили... Что стряслось-то?

— Ничего, — нехотя ответил Николай, поднимаясь.

— Пойдем капитана порадуем.

— Лучше в свою землянку...

— Как хочешь, только он очень беспокоился за тебя. Надо, говорит, найти его, хоть мертвого... А ты цел и невредим.

В эту минуту Николай, хорошо знавший крутой характер командира роты, не хотел попадаться на глаза капитану, но, как назло, попался.

— А, это ты объявился, пропащий? — сказал командир роты, останавливаясь. — Где же ты был во время перестрелки?

— Там, — неопределенно махнул рукой Николай, избегая сурового взгляда капитана.

— А как это прикажешь понимать?

Николай глубоко вздохнул и признался:

— И сам не знаю, товарищ капитан, как оно получилось, но только я вроде как бы уклонился от боя.

— Почему «вроде как бы»? Самым позорным образом уклонился! — повысил голос капитан. — А я-то, грешным делом, собрался хлопотать о досрочном снятии с тебя судимости... Теперь, что ж, теперь вынужден буду ходатайствовать о другом, о твоём разжаловании в рядовые. За трусость!

— Кому прикажете передать отделение? — спросил Николай, внутренне соглашаясь со справедливостью командирского решения: на его месте сам Николай поступил бы точно так же и никак иначе.

Капитан ответил не сразу, о чем-то думая.

— Командовать пока продолжай, — сказал он уже более мягко, хотя и предупредил: — Но гляди: еще раз струсишь — пеняй на себя — головы можешь не сносить! Это уж точно! Иди к своим бойцам!

— Слушаюсь, товарищ капитан! — козырнул Николай.

В конце сентября сорок третьего года Ивана Дмитриевича Косаренко, как купившего «вину» перед Родиной, из штрафной роты откомандировали в соседнюю дивизию для прохождения боевой службы на общих основаниях.

Попав в обычную стрелковую роту, Николай попросил вручить ему ручной пулемет, сказав, что он им владеет хорошо и, стало быть, в бою может принести наибольшую пользу, ведя огонь по врагу именно из этого оружия. Два часа спустя, старательно почистив свое новое оружие, Николай с удовольствием выпустил из

него по врагу первую, пробную очередь. Работой пулемета остался доволен: не подведет в трудную минуту боя.

Итак, Николай Кравцов добился того, чего хотел, совершая рискованный побег из мест заключения, но ожидаемой радости не испытывал. Ни большой, ни малой.

Нет, он нисколько не жалел о том, что бежал из Приуралья, где над головой ни пуль, ни снарядов, — мучительной была для него сама мысль о том, что, воюя под чужим именем, он будто крадет, у кого неизвестно, свой священный гражданский долг — защиту Отечества. Мысль эта тяжким бременем давила на душу, не знающую покоя. На его глазах гибли люди, вполне мог погибнуть и сам Николай — война есть война, и он, кадровый военный, хорошо это понимает, не хотелось мириться с одним: гибелью под чужим именем. Именно поэтому в минуты особенно мучительных раздумий в разгоряченную голову его настойчиво лезла прекакая-то мыслишка: в тихий солнечный день — именно в тихий и в солнечный! — на глазах своих врагов выбраться на бруствер траншеи и во весь голос прокричать: «Товарищи мои дорогие, вы меня принимаете не за того, кто я есть на самом деле. Никакой я не рядовой Косаренко Иван Дмитриевич, а старший лейтенант Кравцов Николай Миронович, злостно опозоренный и безвинно пострадавший. Запомните: я — старший лейтенант Кравцов из Лепельского пехотного училища...» И пускай тогда вражеский снайпер, который, конечно же, возьмет его на мушку, нажимает на спусковую скобу винтовки — уж если погибать, так под своим именем.

Другая же мысль, тревожная, хладнокровная, предохраняющая от скоропалительных решений и безрассудных поступков, — эта мысль требовала честного ответа на вопрос: а кому пойдет на пользу такая «красивая» смерть на миру? Кому?.. И почему ты должен уходить в небытие хотя и под своим именем, но не доказавшим свою невиновность?

Нет, задуманное надо непременно довести до желанного конца, ради которого он уже претерпел столько мук и лишений и до которого теперь, в общем-то, не так уж и далеко. Свою судьбу Николай будет просить об одном: чтобы вражеская пуля раньше времени не нарушила его тщательно обдуманной, в главных пунктах уже осуществленный, план восстановления своего доброго имени. Только бы не нарушила...

Как-то вечером, лежа на бревенчатых нарах землянки, Николай при свете копилки, сделанной из латунной гильзы сорокапятимиллиметрового снаряда, читал красноармейскую газету. Вести с фронтов были хорошие, ободряющие. Разгромив фашистские полчища на Курской дуге, наши войска на большом протяжении вышли к Днепру и на высоком правом берегу его захватили несколько плацдармов, важных для наступления по Правобережной Украине. По всему видно: чаша весов войны, в которой решались судьбы Родины, навсегда склонилась в нашу пользу.

В одной из статей приводились слова Сталина о бережном отношении к человеку, высказанные им еще в предвоенные годы в открытом письме к комсомольскому пропагандисту из Курской области. Когда этого пропагандиста ретивые службисты стали притеснять, обвиняя его в мнимом отступничестве от политики партии, он, не будь дураком, взял да и написал Сталину. Так, мол, и так, дорогой товарищ Сталин, защитите незаслуженно обиженного, оградите от нападков. И Сталин защитил!

Отложив газету, Николай задумчиво поглядел на колыхавшийся огонек копилки и с затаенным вздохом подумал о том, что если бы товарищу Сталину каким-то образом стала известна его горемычная судьба, он, конечно же, заступился бы за него, восстановил справедливость. Но товарищ Сталин, к несчастью для

Николая, никогда не узнает, как злые людишки исковеркали ему жизнь, ему, Кравцову Николаю Мироновичу. Никогда!

А что если по примеру курского пропагандиста обратиться к нему за помощью? Но стоит ли? У Верховного Главнокомандующего и без него забот полный рот, — уместно ли, допустимо ли отвлекать его внимание своей личной обидой, даже и тяжкой, от неисчислимого множества проблем войны, которые он решает? Николай перестал бы уважать самого себя, если бы решился на такой в высшей степени неблагоприятный поступок.

Что же, однако, предпринять для выхода из тупика, в котором оказался? Что?.. И все же Николай достал из вещевого мешка помятую тетрадку, карандаш и начал торопливо писать:

«Москва, Кремль, товарищу Сталину.»

Дорогой Иосиф Виссарионович! К Вам обращается рядовой боец Красной Армии, фронтовик...»

Но решимость его вдруг иссякла: о чем же можно просить Верховного Главнокомандующего, предварительно не объяснив, почему он, старший лейтенант Кравцов Николай Миронович, стал рядовым Косаренко Иваном Дмитриевичем? Но как это объяснишь, зная, что все письма с фронта непременно прочитывает военная цензура?

Долго думал Николай, как быть, и, наконец, нашел выход: «Очень прошу вызвать меня в Москву. Я расскажу Вам обо всем том, что меня мучает и мешает в полную силу драться с фашистами. Поверьте мне, судьба моя очень непростая, но в душе я остался таким же, каким был, когда в кармане моей гимнастерки лежал партийный билет...»

22

Неустойчива, капризна северная погода. Утром во всю мощь светило солнце, и, казалось, ничто не предвещало ненастья, но в полдень небо вдруг заволочли низкие, тяжелые тучи, стал накрапывать мелкий, надоедливый дождь, а к вечеру разбушевалась пурга.

Наблюдая в амбразуру за обманчиво пустынным передним краем противника, искромсанным снарядами и минами, Николай подсчитывал, сколько дней письмо пробудет в пути. Как ему ни хотелось, чтоб оно возможно быстрее дошло до Москвы, — он трезво соглашался на двухнедельный срок. Что же касается ответа оттуда, то его ничто не может задержать — по правительственным каналам связи в одночасье долетит из Кремля до дзота Николая.

И все-таки это ужасно долго — четырнадцать дней и ночей нетерпеливого ожидания... неизвестности! За это время здесь, на передней линии огня, могут произойти самые неожиданные, даже драматические события.

Николай представил себе, как все в роте — да и не только в ней — удивятся, когда узнают, что его, ручного пулеметчика, срочно вызывают в Москву... Он уже обдумывал, что скажет, когда Верховный Главнокомандующий, тронув пальцем усы, со скупой отеческой лаской спросит: «Так о чем же вы хотели сообщить мне, товарищ Косаренко?..» От этой мысли даже голова закружилась...

Из лесных чащоб на тесные солдатские блиндажи и дзоты по фронтовой земле, обезображенной взрывами, расползались быстрые осенние сумерки.

Начиналась северная фронтовая ночь — бесконечно длинная, полная опасностей и тревог. О чем только за эту ночь не передумает солдат, всматриваясь и вслушиваясь в темноту, о ком не вспомнит! Именно в эти томительные часы он особенно остро и глубоко сознает: дорога в родной дом, к старушке матери или к той, которой еще не сказал заветного слова, к жене и детям, к любимому мирному тру-

ду, ко всему тому, что в совокупности составляет жизнь, — эта дорога для него лежит через муки и страдания, через кровь и смерть...

Ветер шумел свирепо и грозно, безжалостно выдувая из дзота остатки тепла.

Одетый, как и все, не по-зимнему — в солдатской шинели, которая, как известно, подбита рыбьим мехом, и в пилотке, Николай сильно продрог. Греясь, он несколько минут подпрыгивал и обхлопывал себя, потом на ощупь свернул папиросу, но в трофейной зажигалке кончился бензин. Эка досада! Разве что сходить к ближайшему соседу, до которого метров пятьдесят, если не больше, но тут же вспомнил: не положено покидать свой пост — мало ли что может случиться?

И опять Николай смотрит в темноту, опять напрягает слух. По-прежнему ничего подозрительного. Над передним краем противника даже ракеты не взлетают — забились, наверное, финны, в блиндажи и дрыхнут. Слышен только шум ветра да жалобный писк расщепленного остатка сосны, искалеченной снарядом. Холодно, скучно, тоскливо.

Вдруг в однообразном, убаюкивающем шуме ветра почудился какой-то едва уловимый скрежещущий звук, как будто кто-то поцарапал ногтем по пустой железной бочке. Насторожившись, Николай оглядел все видимое пространство перед колючей проволокой, но ничего подозрительного не заметил. А между тем странный звук повторился. Что за чертовщина?

Возле одной из деревянных крестовин проволочного ограждения даже вроде бы какая-то тень мелькнула. Или это померещилось?..

Все стало ясным, когда ветер на секунду-другую стих и до слуха Николая донесся раздраженный полусшепот.

Финны!

Сдерживая нетерпение, Николай неспешно, будто на учебном стрельбище, еще и еще раз проверил, на месте ли запасные диски. И только после этого открыл огонь. Пулемет затрясся. Николай на миг отпустил гашетку, прислушиваясь: за колючей проволокой смятенные крики и стон.

Как только диск закончился, Николай тотчас же вставил другой, и пулемет вновь заработал...

С недалеким перелетом вдруг разорвалась мина. Вторая грохнула где-то поблизости, третья чуть левей и впереди бруствера. А через минуту мины стали рваться так часто и так близко, что содрогнулось двухнакатное перекрытие блиндажа, и на Николая, присевшего на корточки, с потолка посыпалась тонкая струйка земли...

На рассвете в сопровождении автоматчика и командира роты на огневую точку пришел комбат.

— Ты, Косаренко, из-за чего тут шум поднимал? — спросил он Николая внешне грубоватым тоном, уже зная в общих чертах о причине ночной перепалки.

— А убедитесь сами, товарищ капитан. — Николай показал на амбразуру.

В проволочном ограждении были проделаны четыре прохода. Возле одного из них, рядом с обгоревшим пнем, одиноко торчал немецкий ручной пулемет и валялась каска, возле другого, на бруствере воронки, распластав руки, лежал убитый солдат. А дальше, по ходу отступления финнов, виднелись металлический патронный ящик, противогаз, плащ-накидка...

— Ну, брат, здорово же ты их проучил! — похвалил комбат. — Четыре прохода... Не для одного отделения и даже не для взвода... Молодец, товарищ Косаренко! Расспросив о подробностях ночного боя, комбат на прощанье сказал:

— Ну, герой, будь здоров!

Оставшись один, Николай свернул самокрутку, но, вспомнив, что в зажигалке нет бензина, ругнул себя: не догадался у гостей попросить огоньку!

С сожалением положив самокрутку за отворот пилотки, он устало потянулся,

сладко зевнул. Подумав, что до завтрака можно вздремнуть — днем противник и носа не высовывает, он сел на патронный ящик, прислонился плечом к пихтовому стояку и блаженно закрыл налившиеся тяжестью веки. Засыпая, подумал: «Вот и прошла первая ночь после отправки письма...»

Теперь он жил и воевал, подбадриваемый ожиданием вызова из Москвы, надеждой, что все будет хорошо, порушенная жизнь его скоро войдет в нормальное русло. Он считал дни и часы, оставшиеся, по его предположениям, до вызова, который все поставит на свои места — справедливость не может не восторжествовать, на то она и справедливость.

И дождался-таки своего Николай — его вызвали.

Но не через две недели, как он рассчитывал, а гораздо раньше — на четвертый день.

— Ну, брат, поздравляю! — сказал командир батальона радушно, когда по его вызову Николай явился на командный пункт батальона.

— С чем, товарищ капитан? — почему-то с неосознанной тревогой спросил Николай, радуясь и страшась одновременно.

— А не догадываешься? — Комбат улыбнулся одними усталыми глазами — спать ему приходилось мало.

Николай, конечно же, догадывался, но не верил, что ответ из Москвы пришел так быстро. А о том, на что намекал комбат, он попросту и не подумал.

— Эх ты, герой! — засмеялся комбат, обнажая точеные зубы. — Я же тебя к ордену представил... Ты сегодняшнюю газету-то «На разгром врага» читал?

— Нет.

— Вот так да! А тебя там так расписали... Огурцов! — комбат обратился к своему ординарцу. — Ну-ка найди и вручи Косаренко газету!.. А ты отправляйся в штаб дивизии — тебя туда вызывали. Как возвратишься оттуда, сразу же ко мне. Расскажешь, что и как...

— Слушаюсь, товарищ капитан!

Небольшая заметка в красноармейской газете, которую принес ординарец, более или менее точно передала смысл того, что произошло с Николаем позавчерашней ночью, но так как в ней речь шла о рядовом Косаренко, Николай прочитал ее довольно равнодушно. По той же причине не очень осчастливило его и сообщение комбата о представлении к боевому ордену. Вот если бы наградили не Косаренко Ивана, а Кравцова Николая...

При всем том, он явственно ощущал предчувствие каких-то новых перемен в своем теперешнем положении. Что эти перемены наступят, что скоро опять он станет самим собою, Николай теперь не сомневался. Вопрос стоял так: хуже или лучше ему будет после этих перемен? Кем он потом станет, когда они произойдут, тем ли, кем был всю свою сознательную жизнь, или, наоборот, тем, кем его сделали после ареста в мае прошлого, сорок второго года?..

Штаб дивизии, куда пришел Николай, размещался в поселке меж двух лесистых сопок. Поселок был небольшой: десятка три рубленых дома, вытянувшихся в одну искривленную улочку вдоль распадка, по которому текла быстрая каменистая речка.

Николай уже почти полгода не видел нормального человеческого жилья и теперь с любопытством разглядывал дома, украшенные резьбой, и добротные хозяйственные пристройки к ним. «Просторно люди живут», — думал он.

Разыскав дом, где находился дежурный по штабу дивизии, Николай доложил пожилому майору, что прибыл по вызову. Жестом посадив его на скамейку, май-

ор кому-то позвонил, сказав скучноватым голосом, что рядовой Косаренко при- был, и склонился над топографической картой.

Минут через пять вошел смуглолицый симпатичный старший лейтенант в лад- но пригнанной шинели, начищенных до блеска хромовых сапогах и поношенной довенной фуражке. Взглянув на Николая черными глазами, он спросил:

— Косаренко?

— Так точно. — Николай встал по стойке «смирно».

— Я оперуполномоченный особого отдела Семиреков. Следуй за мной!

От этих слов в груди Николая сразу похолодело, и неясное предчувствие боль- ших перемен вдруг сразу переросло в уверенность: начинается новая, быть мо- жет, еще более тяжкая, чем до сих пор, полоса его незадачливой жизни...

Пришли в соседний дом. В большой комнате старший лейтенант разделся, по- весил шинель на деревянный костыль и предложил раздеться Николаю. Потом сел за дубовый стол, не прикрытый скатертью, а Николаю указал на табурет воз- ле него. Сидели друг против друга. Ничего хорошего не ожидавший Николай по- думал: «Как на допросе...»

Старший лейтенант почему-то не спешил начинать разговор, тянул время, по- видимому, давая возможность солдату освоиться с обстановкой.

— Куришь? — наконец произнес он, протягивая через стол портсигар, искус- но сделанный из самолетного дюралюминия.

— Спасибо, — поблагодарил Николай, беря сигарету с внутренней насторожен- ностью.

— В красноармейской газете рассказывается об умелых и смелых действиях пулеметчика Косаренко, — заговорил следователь, сбивая на бумажку пепел с си- гареты, — не про тебя ли это?

— Про меня, — ответил Николай, радуясь тому, что офицер прочитал замет- ку, которая ему на пользу.

— Молодец, хорошо воюешь, — похвалил старший лейтенант и, расспросив, откуда он родом, давно ли на фронте, вдруг задал вопрос, который прояснил Ни- колаю причину, по которой он оказался перед ним:

— Скажи, товарищ Косаренко, а что ты хотел сообщить товарищу Сталину?

Стараясь не выдать своего волнения, Николай ответил не очень вежливо:

— Да уж это, товарищ старший лейтенант, мое личное дело.

— Вот как! Но я с тобой согласиться не могу, — мягко, без обиды на невежли- вость рядового возразил офицер. — Желание встретиться лично с товарищем Ста- линым прямо касается нас, работников органов государственной безопасности. Хороши бы мы были, если бы не знали, кто и почему обращается к Верховному Главнокомандующему. Так что, если у тебя есть какая-то важная тайна, которая может пойти на пользу нашей победе, ты не имеешь права скрывать ее от нас, ра- ботников особого отдела «Смерш».

Вздохнув, разочарованный Николай молчал. Ему стало ясно, что ни о каком вызове в Москву не может быть и речи, что от него теперь не отстанут до тех пор, пока не добьются признания в том, по какой причине он писал свое загадочное для них письмо. Как же теперь быть? Откровенно рассказать этому симпатично- му старшему лейтенанту всю горькую и горестную правду о себе, ничего не ута- ивая, а там, будь что будет, или, напротив, прикинуться этаким простачком, ко- торый под настроение и по глупости отправил в Кремль письмо, толком не отда- вая себе отчета, для чего он это делает. Но оперуполномоченный старший лейте- нант вряд ли поверит в эту несерьезную, по-детски наивную придумку.

И, в общем-то, Николай не ошибался, думая так. Старший лейтенант и в самом деле был опытным чекистом и, конечно же, догадывался о том, что происходит в душе сидевшего перед ним бойца, судя по всему, неглупого и отважного, коль скоро

в описанном газетой бою действовал похвально, решительно и умело. Такой боец не стал бы обращаться по пустякам к самому товарищу Сталину — знал бы, что Верховный Главнокомандующий по горло занят организацией сил и средств для разгрома фашистских орд.

— Давай так, товарищ Косаренко, договоримся. Вот тебе бумага и чернила. Кратко изложи, что именно томит твою душу. Ты же не можешь не понимать: в любом случае Иосиф Виссарионович лично не станет заниматься твоим делом, а поручит кому-нибудь из нашего брата, работников госбезопасности. Так не лучше ли не в Москве, а здесь, на месте, освободиться от всего того, что, как ты пишешь, мешает тебе во всю силу биться с фашистами? Или ты доверяешь только московским чекистам?

— Да нет, почему же, — возразил Николай.

— Тогда смело открывай свою душу, а я не буду тебе мешать, — сказал следователь и вышел.

Облокотившись о стол, Николай долго сидел неподвижно, мучительно раздумывая.

Пока его не арестовали и даже не обезоружили — он пришел с карабином, пока особистам еще ничего не известно о том, кто он и как попал в действующую армию, не лучше ли незаметно уйти? Старший лейтенант прошел куда-то мимо окон, и, стало быть, появилась возможность скрыться.

А где? И главное — зачем?

Ведь одно дело — совершить побег из мест заключения и объявить себя дезертиром, чтоб под чужой фамилией и штрафником попасть на фронт, другое — бежать с фронта, чтобы стать настоящим дезертиром. Одно дело — погибнуть от вражеской пули, другое — от своей, советской, и все под той же чужой фамилией.

Нет, такой позорной смертью Николай умирать не хотел.

Но и признаваться было страшно: ведь его снова будет судить военный трибунал — он это хорошо знал, — опять же по 58-й статье, только по другому пункту — по 14-му, контрреволюционный саботаж, выразившийся в уклонении от отбытия наказания за политическое преступление.

И так худо, и этак не лучше.

Когда за окном вечерние сумерки стали фиолетовыми, в комнату вошел юркий боец с двумя котелками.

— Это тебе, — сказал он начальственно-покровительственным тоном, ставя котелки на стол. — Тут вот рисовый суп, а это пшенная каша со «вторым фронтом». Ешь, пока не остыло!

Боец занавесил оба окна плащ-палаткой, зажег керосиновую лампу и, перед тем как уйти, спросил:

— У тебя курево-то есть?

— Есть, — рассеянно ответил Николай, позабыв о том, что табака-то у него как раз и не было.

Через полчаса возвратился старший лейтенант. Взглянув на чистую бумагу, лежащую перед Николаем, и на нетронутый обед, он недовольно поморщился.

— Зря, Косаренко, замыкаешься, — сказал он, присаживаясь напротив. — Москвы тебе все равно не видать — никто тебя туда не вызовет. Выход один: сообщить обо всем здесь. Так будет лучше для тебя. Поверь, я знаю, что говорю.

Николай продолжал молчать, мучаясь от жестокой внутренней борьбы: что делать?

— Ну-ну, подумай еще. — Старший лейтенант придвинул к себе лампу и развернул газету.

— Мне выйти-то можно?

— Конечно! — ответил оперуполномоченный и крикнул в соседнюю комнату: —

Осокин! — А когда на пороге в почтительной позе застыл юркий боец, распорядился: — Покажи нашему гостю уборную.

Выйдя во двор, Николай тоскливым взглядом окинул вызвездившееся небо и с отчаянной решимостью подумал: «Ладно, будь что будет!..»

— Ну что, надумал? — спросил его Семиреков, когда он возвратился в дом.

Вздохнув, Николай кивнул в знак согласия.

— Только писать, гражданин оперуполномоченный, я не буду: коротко не смогу, а длинно — стоит ли? Договоримся так: я начну рассказывать, а вы уж записывайте, что надо. Можно ведь так?

24

— До мая сорок второго года жизнь моя, гражданин следовательно, складывалась не так уж плохо. Во всяком случае, не имел причин жаловаться на судьбу свою. Это, конечно, не означает, что у меня вовсе не было горестей и печалей. Но в основном, решающем, в том, что делает человека счастливым, я был, как говорится, на высоте. С детства мечтал стать кадровым военным и стал им. С трудностями, правда, и немалыми... До службы в армии я успел окончить Острогжское педучилище и работал сельским учителем. Тогда же встретил девушку Олю... Поженились, у нас появился ребенок — сынишка Владик.

Казалось, чего бы еще надо? А меня неудержимо тянуло в Красную Армию. Пошел в военкомат, но там категорически отказали: учителей на службу не берем — их и так не хватает. Но я добился своего... На Дальнем Востоке служил связистом. Тосковал, конечно, по Оле и сынишке, и здорово, однако не жалел, что по своей воле с ними разлучился. Ну, службу, время идет, а сам мечтаю: вот если бы попасть в военное училище... Чтоб не распространяться на этот счет, скажу: через год я уже был курсантом Рязанского пехотного... В сороковом окончил его с отличием и, наверное, поэтому меня направили не в обычный полевой полк, а в Лепельское училище, командиром курсантского взвода. Не скрою, страшновато было — учить других, но, поверьте, я старался. Не прошло и полгода, как меня сначала выдвинули командиром роты, потом начальником учебной части батальона, а в мае сорок второго я уже носил три кубаря старшего лейтенанта. Стоял вопрос о посылке меня в академию...

Как видите, моя военная карьера складывалась не так уж плохо... К тому времени у нас с Олей второй ребенок появился — Валюша... Разрешите закурить? Благодарю... В начале войны училище было передислоцировано в Череповец. Не мне вам говорить о том, какое это было тяжелое для Родины время. Курсанты с тревогой спрашивали нас, своих старших товарищей и воспитателей: почему наша армия отстывает? Почему? Готовясь к боям, будущие командиры хотели знать правду и только правду. Я, как и другие мои товарищи, отвечал им в том смысле, что враг очень силен и опасен и что победа над ним потребует немало крови. Чтобы одолеть его, надо хорошо постичь науку побеждать и не жалеть себя...

А житуха была нелегкой. Идешь, бывало, с курсантами в поле на тактические занятия, а ноги от слабости так и подламываются. Многие из нас подавали рапорты, чтобы на фронт отправили, но нам и думать об этом запрещали. Наш долг, говорили нам, готовить командные кадры для фронта. И мы готовили, не считаясь с лишениями. Да и постыдно было бы считаться с житейскими невзгодами, хорошо зная, что наши сверстники в боях и кровь свою проливают, и умирают геройской смертью. Но были среди нас и такие людишки, которые собственную утробу ценили выше чести, совести и долга... Захожу как-то в курсантскую столовую, а мне дежурный докладывает: так, мол, и так, сегодня два килограмма мяса и килограмм масла недоложили в котел. Начальство взяло. Спрашиваю: кто?

Замаялся дежурный, не сразу назвал прохвостов, но все же сказал. Один из них, Глобов, оказался моим непосредственным командиром, другой, Стряпухин, был не менее опасен, — работал в особом отделе...

И все же я пошел к одному из них — Глобову. Он понял меня по-своему и предложил вместе пастишь в курсантской столовой. У тебя, говорит, тоже семья, твои дегтишки тоже есть просят... А мы, говорит, как-никак, офицеры... Я сказал, что раз мы — советские офицеры, то не должны обкрадывать своих подчиненных, это большая подлость и уголовное преступление. И если вы не прекратите воровства, я доложу командованию... Задыхаясь от злости, Глобов предупредил: «Запомни, Кравцов, кто станет на нашем пути, рога обломаем!» Жалею об одном — о том, что не отправил докладную записку начальнику училища. Понадеялся, дурак, что воры образумятся, устыдятся. И поплатился за это, и еще как!

Николай замолк, подошел к скамейке, на которой стояло ведро с водой, жадно попил. Потом, уже не спрашивая разрешения, взял из портсигара на столе сигаретку и, осторожно разминая ее, продолжал:

— Уже на другой день после разговора с Глобовым было срочно созвано партийное собрание батальона. Оно длилось недолго и закончилось тем, что у меня же отобрали кандидатскую карточку... Молча расходились мои товарищи, а я продолжал сидеть. Вдруг на мое плечо кто-то опустил тяжелую руку. Я оглянулся и встретился со злобно торжествующим взглядом Стряпухина. Обвинение предъявили через две недели: статья пятьдесят восьмая, пункт десять, часть вторая... Разумеется, я не чувствовал и не признавал за собой никакой вины, ни малой, ни большой.

Судили меня в начале сентября. Когда вышли за ворота тюрьмы, конвоир спросил меня, хорошо ли я знаю город. Я ответил, что да, Череповец знаю хорошо. «Тогда путь выбирай сам, — сказал конвоир, — нам надо в Дом Красной Армии». Я удивился — зачем туда? Оказывается, там будет заседать военный трибунал... Но почему именно в Доме Красной Армии? Неужели будут судить показательным, в присутствии всего командного состава училища? Лучше это или хуже?.. Убежать разве? В конце концов, это не так уж и трудно: резко повернуться назад, выхватить у конвоира винтовку и — даешь свободу!.. Нет, думаю, до суда этого делать никак нельзя: бежать — значит, признать себя виновным, хотя бы и косвенно. Кто знает, может, военный трибунал и сам выпустит меня на свободу. Убеждется в том, что я злостно оклеветан и оправдает. Вот если трибунал безвинно осудит, тогда другое дело. Тогда уж ничего другого не останется, кроме побега...

По улицам Череповца я шел, опустив голову, — слишком трудно, гражданин следователь, невозможно было смотреть людям в глаза: в каждом взгляде — ненависть и презрение. Уже почти год шла война — и какая! — враг почти рядом, каждый честный человек готов на все ради победы, а тут — на тебе — ведут арестованного молодого человека в военной форме без знаков различия. Ясное дело: либо шпион, либо дезертир... Стыд и позор жгли мое сердце... Возле городского сада встретилась группа командиров-сослуживцев. Они о чем-то разговаривали, но, увидев меня в сопровождении конвоира, сразу же смолкли. Двое из них сделали вид, что ничего не произошло, и отвернулись, остальные невольно замедлили шаг, а старший лейтенант Сойников, шедший позади всех, сжал руки и украдкой приветственно ими потряс. Я, гражданин следователь, с благодарностью принял этот трогательный знак внимания — ведь он означал, что далеко не все считают меня подлецом.

И словно бы луч солнца пробил толщу черной тучи — слабая до этого надежда на благополучный исход начала во мне быстро крепнуть, перерастая в уверенность: справедливость рано или поздно восторжествует!.. И вот тут-то я увидел — кого бы вы думали, гражданин следователь? — своего бывшего начальника Глобова.

Когда наши взгляды встретились, оторопевший Глобов даже растерянно остановился. Остановился и я. Что уж было в моем взгляде, не знаю, только Глобов испуганно начал пятиться, говоря: «Но-но, ты не очень!» Я предупредил его: «Трепещи, подлая душонка! Мы еще встретимся и не в такой обстановке...» И пошел дальше! Мысли мои были заняты предстоящим событием, а ноги сами шли туда, куда рвалось мое сердце.

Вот она, так хорошо знакомая улица Володарского, по которой я каждый день ходил на службу. А вот и двухэтажный дом начсостава... Сердце мое обдало жаром, когда я увидел черноглазого карапуза, скакавшего на палке с дощечкой-саблей в руке, — это был мой Владик!.. Я окликнул его. Сынишка остановился, недоверчиво оглядел меня, не узнавая, а потом, как вскрикнет: «Папа, папочка!» И — на шею ко мне... Для конвоира это было неожиданно, но он все понял и сказал: «Подложил ты мне свинью. Ну да чего теперь об этом. Заходи!» Несу на руках сынишку и спрашиваю, дома ли мама. Оказывается, болеет дочка, и она в аптеку пошла. Вдруг сын как обухом по голове ударил: «Папа, а правда, что ты — шпион?» В груди у меня закололи иголки, а в глазах потемнело. Я с трудом произнес:

— Что ты, сынок!..

— И не фашист?

— Да нет же!..

— А ребята говорят: твой папа фашист и шпион.

— Врут они, сынок, не верь им...

По ступенькам лестничного пролета я поднимался медленно, — будто пьяный...

За дверями слышался надрывный детский плач. Опустив сынишку, я заспешил... В качке надрывалась моя дочурка. Кое-как успокоив ее, ходя с ней по комнате, заглянул в обе кастрюли на плите — в одной было немного супа. В кухонном столе лежало полбуханки хлеба. Я разрезал ее на две части, одну половину положил на место, а вторую протянул конвоиру:

— Возьми, браток...

— Ты в своем уме? — запротестовал он. — Ни в коем разе!

— Но мне больше нечем тебя отблагодарить...

— Да ничего и не нужно... Ты уж тово... Не обессудь, потому как, сам понимаешь, никакого права не имею... Мне и так несдобровать... Надо уходить...

— Да-да, конечно... Владик, скажешь маме, меня повели в Дом Красной Армии.

— Зачем?

— Там будет заседать трибунал...

— А что это — трибунал?

— Суд такой... Ну, прощай, сынок! Будут тебе плохое говорить про папу, не верь, никому не верь! Расти честным и слушайся маму...

— А ты когда вернешься?

— Не знаю, сынок, не знаю...

И вот мы, гражданин следователь, снова на улице. Шел я, как лунатик... Уже неподалеку от Дома Красной Армии вдруг слышу истощенный крик. «Коля, Коленка!» Это была Оля... Она прижалась к моей груди и беззвучно заплакала. Я глухо сказал:

— Прости меня, Оля.

— За что? Ты ни в чем не виноват! — заверила она. — А злые люди... Придет время, Коленка, отольются им наши горькие слезы!

— Все, наверное, отвернулись от тебя?

— Не все, но многие.

— Терпи.

- Стараюсь.
- Детишек береги. И себя, конечно, тоже.
- За нас не беспокойся — не пропадем!
- Родным не сообщай, что со мной!
- Хорошо.

Такой вот, гражданин следователь, она и осталась в моей памяти непреклонной, верной и верящей... Эта короткая встреча дала мне многое. Я еще и еще раз убедился: никто так не знает меня, как Оля, и никто, как она, не убежден в моей невинности. Теперь мне за свой тыл можно было не беспокоиться. Оля тоже будет мужественно противостоять тому, что нас ожидает...

У входа в Дом офицеров нас встретил старшина, молча завел в одну из комнат. Членов трибунала еще не было. Комната по форме и по размерам походила на школьный класс, из которого вынесли парты. Справа стол, накрытый красной скатертью, испятнанной чернилами, — он тоже чем-то напоминал учительский, — а возле него три или четыре табурета. Позади стола, на стене, где обычно висит классная доска, — цветной портрет товарища Сталина. У левой стены — одинокий табурет. Я догадался — для меня, и, не дожидаясь распоряжения конвоира, направился к нему. Старенький табурет подо мной скрипнул. Я, товарищ капитан, не верю ни в Бога, ни в черта, но этот скрип почему-то воспринял как обнадеживающий. Я поднял глаза и встретился со взглядом портрета... Мне вдруг почудился всегда спокойный и уверенный голос товарища Сталина: «Как же ты, Кравцов, дожил до такой жизни, а?..» И, сам не зная почему, я опустил голову. Выстрелом над ухом прозвучали слова: «Встать, суд идет!»

Я встал и с тревожным любопытством разглядывал членов военного трибунала. Первым переступил порог цупленький военный юрист с двумя «шпалами» на петлицах — председатель трибунала. За ним шел высокий медлительный политрук в очках, потом лейтенант с усиками и, наконец, миловидная девушка в форме бойца — секретарь... Не буду пересказывать формальные вопросы, которые мне были заданы. Когда с ними было покончено, председатель спросил, признаю ли я себя виновным в том, что среди личного состава училища проводил пораженческую агитацию, восхвалял немецко-фашистскую армию и противодействовал мероприятиям партии и правительства по разгрому врага?

- Нет, не признаю! — ответил я.
- Я советовал бы вам быть предельно откровенным — это облегчит вашу участь.
- Мне нечего скрывать, как и не в чем признаваться.

С самого начала ареста, гражданин следователь, я с нетерпением ждал суда. Я надеялся, что судьи легко убедятся в том, что предъявленное мне обвинение во вражеской деятельности — нелепость. Но когда председатель трибунала начал меня допрашивать, надежда моя сразу пропала. Я понял: мои судьи озабочены не своим священным долгом перед законом и совестью установить истину, а совсем иными соображениями, не имеющими никакого отношения к советскому правосудию. Мне стало ясно, что уже никто и ничто не отвратит ужасную предопределенность — судьба моя решена. Поэтому на вопросы отвечал без всякого интереса, не стараясь даже доказывать их откровенную тенденциозность. Правда, одну такую попытку все же сделал — это когда был вызван курсант Ульяновский, основной свидетель обвинения. Низенький, лощеный, Ульяновский вошел пружинящим шагом и подчеркнуто подобострастно вытянулся перед трибуналом.

- Свидетель Ульяновский, вы знаете подсудимого?

Ульяновский посмотрел на меня блудливым взглядом и заискивающе ответил:
— Так точно! Это бывший начальник учебной части нашего батальона Кравцов.

- Что вы можете рассказать трибуналу о его преступной деятельности?

— А то, товарищи члены военного трибунала, что он вел вражеские разговоры.

— Какие же именно?

— Да вот, к примеру, взять хотя бы Сталинские премии... Кравцову, видите ли, не по нутру решения Советского правительства по этому важнейшему политическому вопросу. Говорит: зачем Сталинские премии присуждать вертихвосткам-балеринам? Другое дело, когда конструкторам оружия или там ученым... По Кравцову выходит, будто наше родное Советское правительство само не знает, кому надо присуждать, а кому не надо...

— Подсудимый Кравцов, вы подтверждаете показания свидетеля?

— Да.

— Свидетель Ульяновский, что вам еще известно?

— А то, что Кравцов не раз говорил: если-де так будем драпать, то скоро окажемся за Уралом. Опять же Кравцов часто утверждал: нам-де не мешает поучиться у врагов организации взаимодействия родов войск...

— Подсудимый Кравцов, вы подтверждаете показания свидетеля?

— Да. И не вижу в них для себя ничего предосудительного и тем более преступного. Владимир Ильич учит: нельзя победить врага, не зная его сильных и слабых сторон, что и у врага не зазорно перенимать опыт.

— Я попросил бы вас, подсудимый Кравцов, не пытаться оправдывать свои преступные действия ссылками на высказывания вождя. Это кощунство!.. Ульяновский, у вас все?

— Так точно! Больше, к сожалению, ничего не могу сообщить.

— Вы свободны.

Тогда я сказал, что у меня есть вопрос к свидетелю. Судьи переглянулись, и председатель остановил Ульяновского.

— Скажите, Ульяновский, с какого времени вы курсант Лепельского пехотного училища?

— Ну, больше года, и что?

— А сколько за это время было выпусков?

— Ну, два.

— Почему вам, как всем курсантам, не присваивают звания и не отправляют вас на фронт?

— Про это командование батальона знает...

— Я тоже входил в это командование и хорошо знаю, зачем и почему Глобов пригревает вас своим крылом... Вы его холуй! Вы спекулируете краденной у курсантов махоркой, чтоб обеспечить ему сытую жизнь. Вспомните, сколько раз я говорил вам: прекратите!..

Председатель сурово прервал меня:

— Я запрещаю распространяться о вещах, не имеющих отношения к вашим преступным действиям! Свидетель Ульяновский, вы свободны!.. Подсудимый Кравцов, вам предоставляется последнее слово!

И я, товарищ старший лейтенант, так сказал: «В ваших глазах я государственный преступник, но вы ошибаетесь! Я был, есть и буду честным советским человеком! Пошлите меня на фронт — я докажу это! Не совершайте надо мной суда неправого!..»

Когда судьи ушли, мною овладело странное чувство безразличия, и думал я не о том, каков будет приговор, — жестокий или мягкий, а о том, что приговор этот — отбывать не буду. Ни за что на свете! Даже если ради этого придется пойти на самую крайнюю меру протеста...

И вот его объявили, этот приговор: десять лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях с последующим поражением в правах сроком на пять лет... Десять лет... Закончится война, живые герои возвратятся к мирному тру-

ду, а я... За эти годы Владик станет отроком, а Валя пойдет в третий класс. Спросят: «А почему ты, папа, не воевал с фашистами?..» А может, и папой не назовут... И тогда, гражданин старший лейтенант, я решил бежать! С мыслью о побеже толжил спать, с этой же мыслью и просыпался. Кошмарные, изнуряющие сны тоже были связаны со страстной мечтой о свободе. Я знал, что побег неимоверно труден и опасен, но это меня не остановило... Не буду рассказывать о подробностях, скажу только, что 25 ноября сорок второго года я бежал из исправительно-трудового лагеря на Урале, а через неделю, второго декабря, на станции Лежа, под Вологдой, выдал себя милиционеру за дезертира Косаренко Ивана Дмитриевича, был судим и в штрафной роте искупил «вину»... Ну, а об остальном вы уже знаете...

Николай замолк, чувствуя облегчение. Молчал и старший лейтенант, прохаживаясь по комнате. Симпатичное лицо его было задумчивым, суровым. Потом вдруг остановился и с минуту с нескрываемым удивлением рассматривал Николая.

— Слушай, а ты не врешь? Может, ты все это придумал?

— Я вам раскрыл свою душу, будьте и вы со мной откровенны. Скажите прямо и честно — что меня ожидает?

Старший лейтенант, положив руку на плечо Николая, взволнованно сказал:

— Будь это в моей власти, я бы немедленно прикрепил тебе твои офицерские погоны и возвратил бы твою карточку кандидата партии. Верю, в конце концов, так оно и будет. А пока я должен исполнить свой служебный долг — в данном случае нелегкий и неприятный — арестовать тебя и отправить в КПЗ.

25

Камера предварительного заключения — землянка на склоне сопки с редкими соснами. В нее и поместили Николая.

Голые, грубо сколоченные из горбылей нары, чугунная печурка да крохотное, в тетрадный листок, оконце, — так выглядела эта «камера».

Разглядывая свое новое пристанище, Николай с чувством неопределенности подумал о том, как долго доведется ему томиться тут ожиданием? Не строя никаких иллюзий, трезво решил: на скорую развязку рассчитывать не следует. Немало пройдет дней, пока поступят ответы из Череповца, Вологды и из Губахи, а до той поры ему надо терпеливо ждать решения своей участи.

На душе у Николая было сравнительно спокойно; труднейшая задача, которую он ставил перед собой, совершая побег — во что бы то ни стало попасть на фронт, — выполнена, и чего уж тут перед собой-то самим скромничать, не так уж плохо. Боевой устав Красной Армии трактует бой как высшее испытание физических и духовных сил воина. У кого же теперь повернется язык отрицать, что он, Николай Кравцов, хотя и не под своим именем, но с честью и достоинством выдержал именно такое испытание? Кто из серьезных и объективно мыслящих работников правосудия оценит этот непреложный факт «дешевле» тех, за какие он был несправедливо осужден в мае сорок второго года?..

Один из них, старший лейтенант Семиреков, придерживался такого же мнения и именно поэтому обращался с Николаем просто, человечно, чуть ли не на равных. Его допросы скорее напоминали непринужденные беседы не только о том, что так или иначе имело отношение к личности Николая, — следователь и подследственный обменивались мнениями о событиях на фронтах и в международной жизни, порой спорили об искусстве и литературе или мечтали о том желанном времени, когда смолкнет грохот орудий. Рядом со старшим лейтенантом, выпускником юридического факультета Московского университета, Николай ча-

сто забывал о своем унижительном положении арестанта и уже за одно это был ему бесконечно благодарен.

Когда из Череповца поступило первое сообщение — оно касалось семьи и самого факта осуждения Николая, — Семиреков стал к нему еще более внимателен и, как мог, старался облегчить его участь. Зная, сколь скуден арестантский паек, он частенько угощал Николая хлебом, табаком и даже мясными консервами.

Обычно Семиреков вызывал Николая к себе, но однажды сам пришел в КПЗ. Поздоровавшись, он присел на чурбак и с молчаливой сосредоточенностью стал глядеть на дотлевшие угли. Его молодое энергичное лицо выражало одновременно и усталость и какую-то внутреннюю озабоченность, которая, как догадался Николай, имеет к нему отношение. Стало быть, произошло что-то важное, но что?..

— Холодно, наверное, спать-то? — зябко поеживаясь, спросил он, словно бы для выяснения этого вопроса и пришел.

— Конечно, дровишек же мало приносят.

— Я скажу, чтоб не скупились, — леса же кругом.

— Спасибо, гражданин следовательно.

Ворочая щепочкой угли, Семиреков как бы между прочим сказал вдруг такое, от чего у Николая перехватило дыхание.

— А знаешь, сегодня пришло дело, по которому тебя судил военный трибунал... В нем и розыск из Губахи...

Он замолк, достал сигаретку, щепочкой подцепил крохотный уголек, прикурил от него и только после этого взглянул на Николая, протягивая ему портсигар.

— Я рад, Кравцов, что полностью подтверждена искренность твоих поступков вплоть до самого последнего — имею в виду повинную. Полагаю, что эта искренность, как и твое мужественное поведение на фронте, в конце концов, принесут тебе свободу...

Необыкновенная новость, давно и страстно ожидаемая, и открытое сочувствие Семирекова к его судьбе так взволновали Николая, что он готов был расцеловать его, если бы только это было допустимым. Ему захотелось рассказать Семирекову обо всем, что пережил он и перечувствовал с тех пор, как его арестовали и ложно обвинили в страшных преступлениях, которых он не совершал, но вместо этого он неожиданно для самого себя заговорил о другом, то и дело запинаясь:

— Если я вас, гражданин следовательно, правильно понял, то вы... как бы это выразиться... В общем, у меня сложилось впечатление... Одним словом, вы теперь убедились, что со мной поступили жестоко и несправедливо. Скажите откровенно, для меня это очень важно, скажите — так это? Или я ошибаюсь?..

Семиреков молчал, с прежней озабоченностью глядя на дотлевающие угли в печке. И не потому молчал, что боялся признаться в правоте его подопечного, а потому что признаваться в таком для него важном деле было слишком тягостно, горько и обидно. Как летчика в стихию поднебесья, как моряка в суровые океанские просторы, так и Семирекова в карающие органы советской власти привела романтика классово-борьбы. С юношеских лет слово «чекист» для него концентрированно вместило в себе все лучшее, что может быть в революционере. А облик самого главного чекиста, железного рыцаря Феликса Дзержинского, был для него тем эталоном, по которому Семиреков старался сверять свои большие и малые поступки. И когда он, придя в органы, сталкивался с фактами недостойного поведения иных работников НКВД, вроде тех, что искалечили судьбу Кравцова, его впечатлительную душу всякий раз потрясало до самых сокровенных глубин. Вот почему своими взволнованными вопросами Николай как бы посыпал солью на его незаживающую рану.

— Да, ты прав, Кравцов, я действительно убедился: с тобой поступили и жестоко, и несправедливо. Но одного моего убеждения явно недостаточно — надо, что-

бы и члены военного трибунала — а без него никак не обойтись — убедились, вернее, захотели убедиться. — Семиреков сделал нажим на слово «захотели», подчеркивая этим, что исход дела будет зависеть не столько от объективных, сколько от субъективных обстоятельств, неизбежно порождающих произвол и беззаконие. — Будем надеяться, что захотят.

* * *

...Передо мной лежит официальный документ, в котором говорится: «Патриотическое поведение Кравцова на фронте было учтено судебными органами, и он на основании ст. 8 УК РСФСР из заключения и отбытия дальнейшего наказания был освобожден и восстановлен в воинском звании...»

Потом снова были бои. В одном из них Николай Кравцов был тяжело ранен и в строй вернулся уже после разгрома фашистской Германии. В завершающих событиях Второй мировой войны на Дальнем Востоке капитан Кравцов участвовал в должности начальника штаба отдельного пулеметно-артиллерийского батальона.

Решением Военной Коллегии Верховного Суда РСФСР в январе 1963 года Кравцов Николай Миронович полностью реабилитирован. Впоследствии он был также восстановлен в рядах КПСС. Отмечен многими правительственными наградами...